

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ



Владимир Успенский

Неизвестные солдаты, кн.1, 2

Успенский В. Д.

Неизвестные солдаты, кн.1, 2 / В. Д. Успенский —

Никогда не сотрутся в памяти нашего народа события первых месяцев Великой Отечественной войны, никогда не будут забыты беспримерные подвиги бойцов и командиров, которые своим мужеством и упорством обескровили немецко-фашистские войска в приграничных боях, в сражениях под Смоленском, Киевом и Ленинградом, а потом нанесли фашистам поражение под Москвой. Об этих людях и этих событиях рассказывает в своей книге В. Успенский. «Неизвестные солдаты» – роман-эпопея, охватывающий большой круг героев, от колхозников до генералов, от красноармейцев до ученых. Это люди разных характеров. По-разному складываются их судьбы во время войны. Автор показывает, как в трудные дни отступления закладывался фундамент будущей победы, как перемалывались в боях немецкие войска, как крепили в нашей стране те силы, которые остановили врага и погнали его на запад. Среди героев книги – Сталин, Жуков, Василевский, другие известные исторические личности. Но при всем этом «Неизвестные солдаты» – это, прежде всего, роман о народе, совершившем великий подвиг. В свое время Михаил Шолохов назвал этот роман лучшим произведением о войне.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
Часть первая	5
Часть вторая	63
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Владимир Успенский

Неизвестные солдаты

(книги первая и вторая)

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая

Жаркие дни стояли в конце июня. От прогретых солнцем полей тянулись вверх, к густосинему небу, зыбкие потоки горячего воздуха, и в них, распластав крылья, парили коршуны, высматривая добычу.

Еще доцветала в садах сирень, еще чуть заметно пахло в лесу ландышем. Но с каждым днем все сильнее чувствовалось, что весенняя пора миновала. Серой пылью покрылись тропинки и дороги. На буграх, на лысых холмах трескалась затвердевшая сухая земля.

По ночам где-то вдали полосовали небо синие зигзаги молний. Но грозы проходили пока стороной. Только приглушенные раскаты грома долетали иногда до маленького городка.

Просторный двор Булгаковых вымощен серым булыжником. Между камнями пробилась молодая трава. Она мягко пружинит под ногами.

Игорь бесшумно дошел до калитки, покосился на открытые окна. Там – никого. Осторожно, чтобы не звякнула, поднял щеколду. По улице шагал торопливо, держась ближе к забору, ожидая, что вот-вот раздастся за спиной голос мамы: «Игорь, куда ты?» Но мать, наверное, была на кухне. Игоря никто не окликнул.

На пустыре, куда он свернул, играли в городки ребяташки. Славка замахнулся было тяжелой палкой, целясь в «пушку», но, увидев брата, опустил руку.

– Ты за мной, да?

– Нет, играй.

Лицо у Славки разгоряченное, красное, на круглой, как арбуз, голове топорщатся темные волосы. Нос заляпан коричневыми веснушками. Старые, вылинявшие штаны до колен. Ноги в ссадинах и царапинах, места живого не найдешь.

Славке тринадцать лет, в плечах он еще не широк, а вот ростом в мать, вымахал на голову выше сверстников.

– Опять чай пить не будешь? – спросил он.

– Скажи дома – я у Дьяконских. Насчет института поговорю.

– Знаем институт твой! – засмеялся Славка.

Он прекрасно понимал: когда человек отправляется по делу к приятелю, то ему обязательно надевать единственные праздничные брюки и новую тюбетейку. Если нарядился, значит, собрался на танцы или еще куда-нибудь.

Идти в городской сад надо по центральной улице имени Карла Маркса. Но у Игоря свой путь: перемахнул через плетень, через проволочную изгородь, миновал два огорода и сразу наполовину сократил расстояние. Разговор со Славкой испортил настроение. Завтра опять заворчит бабка, будет выговаривать мама. И что это за привычка пить чай в такую жару, да еще непременно всем вместе!

Возле райкома комсомола лицом к лицу столкнулся с Настей Коноплевой, худенькой, угловатой девушкой. Волосы у Насти пострижены коротко, по-мальчишески, не закрывают тонкую шею. В глазах радостное удивление.

– Здравствуй! – подала она узкую ладошку. – Не в райком ты? А я там была. На лето вожатой в пионерский лагерь еду.

Игорь немного смутился. После выпускного вечера он избегал встреч с Настей. Пять лет учился вместе с этой молчаливой и тихой девушкой, до того привык к ней, что будто и не замечал ее. Разве только удивлялся иногда – такая маленькая, невзрачная, а уже в десятом классе, да еще и занимается хорошо.

А на выпускном вечере обычно смешливая и беззаботная Катюша Чернова сказала Игорю строго: «Видишь, Настя скучает? Иди к ней. Любит ведь она тебя, дурака. А ты все в эмпиреях витаешь!» Игорь удивленно пожал плечами: «Настя? Меня?» Подошел к ней, но разговаривать свободно не смог, чувствовал какую-то скованность...

Девушка рассказывала, как обсуждали в райкоме ее кандидатуру. Игорь нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

– Сашку не видела?

– В трубу дует, не слышишь разве?

Из городского сада доносились приглушенные, беспорядочные звуки. Музыканты пробова-ли инструменты.

– Торопишься? – Настя задержала его руку в своей. – Алгебра твоя у меня.

– Забегу на днях. До свидания.

Солнце скрылось уже за кромкой дальнего леса, последние лучи его заливали багряным светом колокольню Георгиевской церкви. Над колокольней, в бледно-голубой вышине, истаивало розовое пушистое облако. Стремительным полетом резали небо стрижи. Они еще видели солнце. А над землей, в прозрачных сумерках летнего вечера, плотнее сбивались в кучки толкунчики-комары.

Нащупав в кармане смятый рубль, Игорь направился к кассе – зеленой будке, освещенной внутри тусклой электрической лампочкой.

Виктор Дьяконский ожидал его возле скамейки в начале аллеи. Стоял под фонарем, вышагая над гуляющей публикой, длинный и тощий, очень похожий издали на семафор – особенно, если поднимет руку. Игорь подумал, улыбаясь, что с таким другом хорошо: не потеряешь его ни в какой толпе.

– Ты один?

– Да, – ответил Дьяконский.

«А где же Оля?» – хотел спросить Игорь, но в это время к ним подошел Пашка Ракохруст, хлопнул его по плечу.

– Здорово, Геродот Иванович! Как история с географией? Нажимаешь?

– Не принимался еще.

– Я тоже... Гульнуть треба, кровь застоялась. Засыплюсь на экзаменах – черт с ним, с институтом. В военное училище пойду.

– Только и ждут тебя там, – ворчливо сказал Дьяконский, садясь на скамейку.

– Здоровье – камень, а для армии это главное.

– Главное – голова.

– На два кубаря мозгов хватит. Научат. Направо, налево, шагом марш! – дело нехитрое.

– Как все запросто у тебя! Смотри не сорвись.

– Небось... В училищах люди нужны. Такими, кто с десятилеткой, там не бросаются.

Говорил Пашка часто сплевывая, приглаживая рукой кудрявые волосы. Глаза у него маленькие, низко навис над ними выпуклый лоб, топорщатся крупные мясистые уши. Он достал пачку «Казбека», протянул Виктору.

– Подымим?

– Богато живешь. Папаня снабжает?

– Перепадет и от него иной раз, – ответил Пашка. Он был толстокож и иронии не понимал. – А это за шкурки кроличьи выручил. Бери, что ли!

– Я свои, – вытащил Виктор тридцатикопеечную пачку «Бокса».

Пашка вместе с Виктором и Игорем окончил школу этой весной. Среди ребят он славился своей силой, любил похвастать мускулами. Парень он был компанейский, но ребята в школе сторонились его. Ракохруст казался им слишком взрослым: давно курил, пил водку, ходил ночевать к вдове в Стрелецкую слободу. И одевался он не так, как остальные: носил хорошие костюмы, яркие галстуки.

Стемнело. Зажглись на аллеях лампочки, укрытые в кронах деревьев: среди листвы вспыхнули светло-зеленые шары, лили мягкий, не режущий глаза свет. На деревянной танцплощадке шаркали подошвы. Играл духовой оркестр, гулко ухал, отбивая такт, барабан.

– Поздно уже, – спохватился Пашка. – Надо прокрутиться разок-другой.

Ракохруст ушел. Виктор Дьяконский сидел на скамейке, поджав длинные ноги, словно боясь вытянуть их, чтобы не помешать гуляющим. Парусиновые брюки туго натянулись на острых коленях. Ворот серой спортивной куртки распахнут, и от этого шея его казалась тонкой. На выдающемся вперед подбородке – глубокая узкая ямочка. Прищулив холодные, насмешливые глаза, Виктор смотрел на смутные тени, мелькавшие возле танцплощадки.

– Слушай, где же Оля? – недоумевающе спросил Игорь.

– Дома, – резко ответил Дьяконский.

– Почему?

– Она с Горбушиным.

– То есть, как это?

– А вот так, – обозлился Виктор. – Приехал в отпуск. Второй раз. И прямо к нам зашел... Ты ведь знаешь его? Старший лейтенант, моряк.

– Знаю, – растерянно пробормотал Игорь.

– Вот и все. Не за руку же тащить...

Дьяконский встал и двинулся к танцевальной площадке. Он досадовал на Ольгу и на себя. Он давно догадывался, что Игорь, лучший и неизменный друг, равнодушен к его сестре, знал, что последнее время они встречаются вечерами и подолгу ходят вдвоем. А теперь появился этот самый Горбушин, которого он с удовольствием послал бы ко всем чертям.

Было обидно за друга, он не мог скрыть свое раздражение, хотя и понимал, что от его резкого тона Игорю еще тяжелей. Чтобы прекратить неприятный разговор» пригласил на вальс первую встретившуюся одноклассницу.

Игорь не умел танцевать и ходил в сад только для того, чтобы видиться здесь с Ольгой. Раньше он был просто равнодушен к танцам, а в последнее время возненавидел их. Он не мог спокойно смотреть, как какой-нибудь парень лихо крутит Ольгу на деревянном «пяточке», обняв ее за талию, – ту девушку, которая была для него святой и неприкосновенной.

Впрочем, Ольга танцевала редко. Встретившись в саду, они уходили оттуда, до полуночи бродили по тихим, пустынным улицам. Лишь недавно Игорь впервые осмелился погладить ее волосы. Он хорошо помнил этот вечер. Они сидели на траве в саду Дьяконских. Игорь рассказывал, как сдавал экзамен по алгебре. Ольга, будто задремала, голова ее опустилась к нему на колени. Он умолк на полуслове, осторожно взял в руки конец толстой косы, гладил легонько, сдерживая желание поцеловать смутно белеющую в темноте шею. Игорь чуть коснулся губами ее волос. От них шел тонкий едва уловимый запах герани.

Потом Ольга приподнялась, удивленно открыла глаза и засмеялась. А прощаясь, сказала: «Игорек, какой же ты еще мальчик!» Эти слова долго звучали у него в ушах, он мучительно думал: может быть, Ольга хотела, чтобы он поцеловал ее?

Игорь не мог поверить, не мог представить себе, что его Оля сидит где-нибудь с этим Горбушиным, как недавно сидела с ним. Медленно побрел он в сторону от ярко освещенной площадки, подальше от людей, в темноту. Шел мимо скамеек, на которых шушукались пары.

– Ой, не надо! – услышал он нервный смешок.

– А чего? – ответил бас Ракохруста.

– Руки-то холодные...

Игорю стало противно. Неужели все так? Неужели нет на свете чистого, хорошего чувства? Ведь любит же он Ольгу по-настоящему, без всяких этих гадостей. Ему хорошо было только оттого, что рядом находилась она. Рядом – и ничего больше не нужно... А может быть, нужно? Ей нужно? Все-таки Ольга почти на два года старше, и Игорь не всегда понимал ее...

Он удивлялся, почему Ольга дружит именно с ним. Ведь в городе много ребят и взрослых и красивей его. С тех пор как начал встречаться с Ольгой, он частенько поглядывал на себя в зеркало и пришел к неутешительному выводу: физиономия у него самая заурядная. Все лицо покрыто веснушками, их не скроешь даже под сильным загаром. Нос широкий, вздернутый. Даже когда Игорю грустно, когда он расстроен, выражение лица у него такое, будто он вот-вот улыбнется. Вероятно, поэтому все считали его веселым парнем. На самом-то деле он, может, гораздо серьезней других, но что поделаешь, если такой нос!

Еще досаждали Игорю волосы. Жесткие, непослушные, они не лежали ровно; на затылке всегда торчал хохолок. В девятом классе Игорь серьезно взялся за свою прическу. Чего он только не делал! Прижимал волосы специальной сеткой, намазывал маслом, несколько раз, обозлившись, стригся наголо. Но волосы опять отрастали такими же, и опять торчал на затылке вихор.

Оставалась последняя надежда посолиднеть: на подбородке и на верхней губе все гуще пробивался темный пушок. Чтобы усы появились поскорей, Игорь украдкой брился отцовской бритвой. Он не хотел выглядеть моложе Ольги...

На западе еще тлела узкая розовая полоска заката, на ее фоне четко обрисовывались черные листья деревьев. А на востоке уже чуть-чуть посветлело небо, обещая наступление нового дня.

Из сада Игорь выбрался через дыру в заборе, пошел по улице вниз, к реке, в ту сторону, где жили Дьяконские. Редкие, с закрытыми ставнями домишки стояли темные, будто вымершие. В чьем-то дворе прогремела цепью по проволоке собака, лениво и хрипло гавкнула несколько раз.

Игорь то и дело оступался, левая нога попадала в глубокую колею, выбитую колесами телег. «Зачем я иду? – размышлял он. – Она с Горбушиным, а я иду. Дурак, тряпка». Он ругал себя и все-таки шел. Его толкала смутная надежда: а вдруг Виктор ошибся?..

Вот и знакомый палисадник у дома в полтора этажа: кирпичный подвал, а над ним деревянная надстройка. Окна темны, светится только одно, в комнате Натальи Алексеевны. Может быть, Ольга спит? Подумал об этом, и сразу легче стало на душе.

Окно комнаты Ольги выходило во двор. Игорь, не остановившись возле дома, свернул в переулочек, перелез через невысокий забор в сад. Ступал бесшумно, раздвигая руками кусты, и вдруг замер, услышав поблизости голоса. Заметил две темные фигуры под деревьями и прилег на влажную траву возле колодезного сруба.

«Подсматриваю. Гадко!» – пронеслось в голове.

Ольга говорила что-то тихо и быстро. Мужской голос перебил ее, Игорь разобрал слова: «В Феодосии пыльно. Лучше в Ялту».

– Не так громко... Мама еще не спит.

– Поздно ложится?

– Не всегда. – Смех Ольги резанул слух.

– Знаешь, ты только подумай.

Мужчина перешел на шепот, и Игорь теперь ничего не понимал.

Скрипнув, приоткрылась дверь, полоска света легла на кусты. Игорь отполз за сруб.

На крыльцо вышла Наталья Алексеевна в длинном халате, неторопливым движением закинула руки за голову, поправила волосы, сказала негромко:

– Оля?

– Мы здесь, мама.

– Спать пора.

– Еще Виктора нет. Подождем.

– А ночь-то теплая; – вздохнула Наталья Алексеевна.

– Перед дождем парит, – приглушенным басом ответил Горбушин.

Из открытой двери на него падал свет. Моряк сидел боком к Игорю, видны были золотые нашивки на рукаве кителя, черные, широкие брюки.

– Посижу и я с вами, пока танцор мой вернется. – Наталья Алексеевна спустилась по заскрипевшим ступенькам.

Игорь пополз обратно, к забору. Шагая по улице, думал с обидой: «И Наталья Алексеевна с ними, и она тоже...»

Раньше ему казалось, что мать Ольги встречает его с особой приветливостью. Но вот Горбушин – совсем чужой человек, а с ним она говорит таким же ласковым голосом.

Занятый своими мыслями, Игорь не заметил, как дошел до дома. По шаткой лесенке забрался на сеновал, где с вечера еще приготовил постель. Заснуть не мог, ворочался с боку на бок. Старое, пересохшее сено кололось твердыми будыльями, от сенной пыли першило в горле.

Одиноким, никому не нужным чувствовал себя Игорь. Впереди была большая, долгая жизнь. А зачем она ему? Если даже Ольга оказалась такой, то каковы же другие люди? Как жить с ними, как верить им?

К большой человеческой обиде примешивалось еще и чувство собственного бессилия. Ольга уходила от него, а он ничего не мог сделать, чтобы удержать ее. Драться с Горбушиным? Глупо... Сказать Ольге, что никто-никто, кроме него, не может любить так крепко, что его любовь самая сильная?.. Он и раньше-то не смел говорить с Ольгой об этом, а теперь тем более.

Близилась к концу короткая июньская ночь, рассвет наступал прохладный и серый. Легким туманом курилась сизая от росы трава, недвижимо висела листва на деревьях.

«Как жить дальше?» – тоскливо думал Игорь, глядя в высокое, будто подернутое пеплом небо.

* * *

Городок стоит на большом холме, возвышаясь над окрестными лугами и полями. Открыт он для всех ветров – отсюда, наверно, и название: Одуев. С двух сторон серпом огибает холм река. За рекой, за заливными поймами, раскиданы деревушки со старинными церквями, а еще дальше, на краю горизонта, темнеют массивы лесов: там протянулась широкой полосой дремучая тульская Засека.

Отовсюду защищен городок крутыми откосами, подступиться к нему нелегко. Поэтому и поселились здесь люди еще в глубокую старину. В древних летописях упоминается град Одуев. Но и без летописей из поколения в поколение передаются рассказы о его славном прошлом. Когда-то отряд батыевских татар попробовал ворваться в город, да не сумел. Жители лили с крепостного вала на головы врагов горящую смолу, скатывали бревна. Долго стояли татары под городом, хотели взять Одуев измором. Не получилось и это, пришлось уйти восвояси.

Потом, когда завоевали татары русскую землю, наезжали они сюда собирать дань. Добирались ханские баскаки до городка в дикой лесной глуши, куда и кони-то татарские заходить боялись. Дань горожане платили, а в Одуев ворогов не пускали. Приходилось татарам ставить

свои кибитки поодаль, на большой лесной гари. Кое-кто из татар, больные да раненные, так и оседали там, постепенно обстроились, переняли русские обычаи. Спустя некоторое время смешались они с местным населением, приняли христианскую веру. На лесной гари разрослась деревня Стоялово, появились вокруг возделанные поля.

Много уж веков прошло с той поры, а в Стоялове больше, чем в других деревнях, было людей черноволосых и смуглых.

Несколько столетий держали одуевцы передовую заставу на пути крымских орд, оберегали от них набравшую силы Москву. На тульской засечной линии, в лесных завалах, преграждавших путь коннице, дрались с крымчаками не на живот – на смерть.

И поныне находят пахари в полях и на склонах оврагов то наконецник стрелы, то прожавевший кусок кольчуги.

С того времени, как, широко раздвинув свои пределы, окрепло Русское государство, померкла слава Одуева. Превратился он в тихий, заштатный городок. Раз в год, в августе, наезжали сюда на ярмарку купцы из Тулы, Москвы и Петербурга, скупали оптом рожь и деготь, лапти и лес. В буйном хмельном разгуле неделю шумела ярмарка, а потом снова до следующего лета замирала жизнь.

Мало чем отличался Одуев от других уездных городков. В три улицы вытянулись деревянные дома за высокими заборами. Почти у каждого дома – сад. В центре кольцом охватили площадь каменные постройки: купеческие лабазы, городская управа, казенная винная лавка с царским орлом на вывеске, полицейский участок.

Внешне почти не изменился Одуев и после революции. Разобрали на кирпич одну церковь, в другой, на базарной площади, устроили склад картофеля. Там, где были лабазы, выстроили сушильный завод, выпускавший пастилу. Появилась электростанция, которая давала свет до полуночи, а чаще стояла на ремонте. Обнаружили возле города какую-то глину для промышленности, но руки до нее не дошли; железнодорожная станция в двадцати пяти километрах – дорогой оказалась перевозка.

Великие события происходили в стране: строились Днепрогэс и Магнитка, вырос в тайге Комсомольск, советские летчики летали через Северный полюс в Америку, дрейфовали во льдах отважные полярники. Молодежь рвалась из районной глуши к большим делам, во все концы страны – на стройки, на заводы, в институты разъезжались парни и девушки.

С утра Игорь попробовал было заняться историей. Перелистал страницы учебника: Ледовое побоище, крестьянская реформа – все это давно знакомо. Бросив книгу на стол, послонялся по комнатам. Везде пусто, тихо, только в кухне бабка возилась у печки, громыхая ухватами и чугунками. Мама на работе, отец уехал куда-то по делам, сестренка Людмила – в детском саду.

Погладив белого котенка, гревшегося на подоконнике, Игорь вышел во двор. Было безветренно и душно. Поколот бы дрова, да лень в такую жару. Идти к Дьяконским не хотелось. Закадычный дружок Сашка Фокин на заводе, Ракохруст загорает, наверное, возле плотины.

На крыльце появилась бабка, Марфа Ивановна, старая, сторбленная, в черном платочке. Лицо у нее рыхлое, коричневое и все в мелких морщинках. Приподняв длинную юбку, бабка бочком спустилась по ступенькам, мелко проворно семеня ногами, подошла к Игорю. Засунув руки под фартук, испачканный сажей, сказала:

– Маешься, неприкаянный?

Голос у нее скрипучий, ворчливый, а глаза смотрят ласково. Игорь ее любимый внук, весь в покойного деда. Ростом невысок, зато костист, крепок. И характер дедовский, упрямства хоть отбавляй. Лезет всегда на рожон, отчаянная голова; сперва сделает, а потом оглянется.

– Опять книгу-то не брал в руки. Смотри – матери скажу.

– Вечером займусь, жарко сейчас.

– Ну, на речку бы сбегал. И Славку с собой возьми.

– Правильно! – обрадовался Игорь. – Бабуся, ты же самый гениальный человек в нашем доме! Это тебе, а не мне надо бы в институт поступать!

Выйдя за калитку, Игорь увидел братишку. Славка, прислонившись к стволу клена, строгал какую-то палку.

– Эй, – окликнул его Игорь. – Айда купаться!

– Я уж думал, только не с кем было.

Они побежали по тропинке, круто спускавшейся вниз, к реке. Славка, опередив брата, на ходу стянул майку, чуть задержавшись, сбросил трусы и, сверкнув белым задом, с разгону бросился в воду.

Игорь разделся не торопясь, аккуратно сложил брюки.

Вдали спокойная гладь реки казалась застывшей. В ней отражались белые облака, громоздившиеся одно над другим, и среди них – веселый, смеющийся лик солнца. Берега уже начали обсыхать, в нескольких местах вклинивались в воду длинные, покрытые галькой отмели.

На речке две купальни: мужская и женская. Там, где подходила к берегу роща молодых тополей, под крутым желто-глинным обрывом были глубокие места. Деревянный забор делил пополам этот участок. Ребята и девушки, переплыв Упу, встречались на лугу, загорали, валялись в зарослях ромашки, ели кисловатый щавель. Особенно хорошо было там вечером. Воздух казался густым от запаха цветов и свежего сена. С реки тянуло прохладой.

Луговая трава, кусты ивняка каждое лето слышали здесь горячие нежные слова, и сами они будто научились от людей шептаться ласково и загадочно.

Сегодня Игорю не за чем было плыть на ту сторону. Искупавшись, он сидел со Славкой на берегу, смотрел на паренька с удочкой, забравшегося в воду почти по пояс.

– Уедешь ты скоро, – вздохнул Славка. – С кем купаться тогда?

– Со своими ребятами.

– Мама не пускает с ними.

– Много ты спрашиваешь маму-то!

– Все равно скучно без тебя будет.

– Переживешь. – Игорь притянул голову братишки, провел рукой по колючим волосам.

– Ты бы не в Москву ехал, а поближе.

– Только в Москву, и баста! В у-ни-вер-си-тет! – произнес Игорь. – Все великие умы из его стен вышли.

– Так то – великие, а ты просто Булгаков. Что в тебе такого особенного? Только майских жуков хорошо ловишь...

– Цыц, – шутливо пригрозил Игорь.

– И вообще историю учить – девичье дело. Пошел бы ты! В командиры – это да! Форму носил бы...

– Уступаю тебе свое место.

– Уж я-то буду, – сказал Славка. – Танкистом или моряком – во! Знаешь, как я раньше думал? Отец у нас в Осоавиахиме, ты танкистом станешь, я – моряком. А Людка, когда вырастет, за легчика замуж выйдет.

– Ну и фантазер! Всех к месту пристроил!

Из-за забора на середину реки выплыл кто-то в розовой шапочке. «Как у Оли», – подумал Игорь, вновь ощущая утихшую было тоску.

Приподнявшись, он следил за девушкой. Вот она остановилась, отдыхая, повернулась лицом к мужской купальне, призывно махнула рукой. «Ольга!» – чуть не крикнул Игорь, вскочив на ноги. Он уже шагнул к воде, ему показалось, что Ольга зовет его, но в это время увидел Горбушина, быстро спускавшегося с обрыва. Китель и фуражку моряк держал в руках, светлые волосы его растрепались. Лицо красное, будто обожженное солнцем; резко выделялись белые полосы бровей.

Раздевался он спиной к Игорю. Тело его, натренированное, с сухими и крепкими узлами мускулов, было покрыто ровным загаром. Уверенность, точность сквозили в каждом движении.

Игорь невольно сравнивал себя с ним, неприязненно смотрел на свои белые тонкие ноги, покрытые каким-то цыплячьим пухом.

Ольга уже вышла на противоположный берег и скрылась в ивняке. Горбушин, положив поверх одежды фуражку, бросился в воду. Плыл боком, пронося над головой полусогнутую руку. Вот он выбрался из реки, отряхнулся, провел ладонями по груди. Поднялся повыше, глядя по сторонам. Потом пошел уверенно, раздвигая кусты, и исчез среди них.

Игорь расслабленно опустился на землю.

– Домой, а? – тихо спросил Славка, тронув его за плечо.

Они оделись и молча поднялись в гору. Когда миновали тополевую рощу и городскую больницу, Славка, с трудом поспевавший за братом, сказал мрачно:

– Знаешь, я лучше танкистом буду. Не пойду в моряки, ладно?

– В моряки? – рассеянно переспросил Игорь. – Да, да, не надо, – согласился он и, спохватившись, добавил: – Там видно будет, куда пойдешь. А сейчас дуй домой обедать. Я в слободу на часок заверну.

Решение зайти к Насте Коноплевой возникло неожиданно. Тяжело было оставаться сейчас одному. А с Настей можно поболтать о пустяках, отвлечься. И еще одно смутное, неосознанное чувство толкало Игоря к девушке. Ольга была с другим. Ну что ж! На ней свет клином не сошелся. Игорю тоже есть с кем провести время.

Слобода начиналась сразу за базарной площадью, тянулась одной длинной улицей. Дома здесь были непохожие на те, что в городе, – настоящие деревенские избы. По сторонам улицы двумя рядами высились старые липы и клены, домики скрывались в густой тени.

Хата Насти Коноплевой, крытая потемневшей соломой, стояла на берегу пруда, заросшего зеленой тиной. Барахтались в пруду утки, разыскивая корм; гуси, вытянув шеи, цепочкой шествовали по берегу среди лопухов.

Игорь открыл калитку в плетне, вошел в маленький подметенный двор. В окошке, чуть поднимавшемся над землей, мелькнуло чье-то лицо, и тотчас на пороге появилась Настя.

– Ты?

– Как видишь.

– Ну заходи, заходи. – Она подставила локоть. Игорь пожал его. – Лапшу рубила, – смущенно улыбнулась Настя, показывая выпачканные мукой ладони.

В комнате было чисто и светло от недавно побеленных стен. Большая печь делила избу на две половины. Возле стола, на котором лежали лепешки раскатанного теста, сидел пятилетний братишка Насти, очень похожий на нее: такие же глаза, темные и немножко раскосые. Он слез с табуретки, боком подвинулся к двери, спросил:

– Я побегаю, да?

– Иди, только недалеко. На уток взгляни. Игорь и раньше бывал у Насти. Знал, что мать ее работает в колхозе, отец погиб на финской войне, совсем недавно, минувшей зимой. Тогда Настя недели две не появлялась в школе. Игорь с ребятами приходил проводить ее. Глаза у нее были опухшие, красные...

Настя быстро закончила рубить лапшу, вымыла руки. На ней – коротенькое, до колен, ситцевое платье с поблекшими голубыми цветочками. Платье было тесно девушке, туго обтягивало ее маленькие груди и даже лопнуло сбоку по шву. Это, наверно, смущало ее, она переоделась за занавеской. Вышла в кофточке с горошками и в черной юбке. На ногах – матерчатые босоножки.

– Ты повзрослела будто, – сказал Игорь.

– Это на каблуках я.

– Зубришь?

– Химию повторяю.

– Ты значит, в Тулу собираешься?

– Нет. В Москву, в медицинский.

Игорь удивленно вскинул брови:

– Неужели? Первый раз слышу. И давно ты решила?

– Недавно, – глядя ему в глаза, ответила Настя. – Когда узнала, что ты едешь туда.

– Вот это номер! – растерянно протянул Игорь.

В нем росло смущение, и оно все усиливалось оттого, что смутилась и Настя. У нее порозовела тонкая шея, покраснели щеки. Молчание затянулось. Оба искали и не находили, что сказать.

– Карточки хочешь посмотреть? – спросила наконец девушка.

Взяла с полки альбом, села к столу. Игорь стоял рядом, заглядывая через ее плечо.

– Это я, видишь? – доказала она старый, пожелтевший снимок.

Маленькая девочка с белым бантом на голове удивленно смотрела с карточки. Уголки губ были опущены, казалось, она вот-вот заплачет.

– С магнием снимали, – догадался Игорь.

– Ох, и напугалась я тогда, как пламя вспыхнуло. До сих пор помню.

Игорь накрыл ладонью ее руку.

– Ты чего? – тихо опросила она.

– Здесь, на указательном пальце, пятнышко чернильное у тебя всегда было, – ответил Игорь, волнуясь от ее близости и не понимая, что с ним происходит. – Ведь столько лет рядом, бок о бок сидели, а, Настя?

– Да, – сказала она, ниже опустив голову.

– И не видел, что у тебя такие колечки на шее.

– Ты многое не замечал.

– А руки у тебя всегда полыньей пахли.

– Это от веника... Плохо, да?

– Что ты, наоборот! Твой запах.

Игорь наклонился и неловко поцеловал шею, покрытую белым пушком. Настя вздрогнула, вскочила, повернулась к нему. Глаза были полны слез. Он, зажмурившись, обнял ее, с отчаянной решимостью поцеловал сухие и твердые губы, ощутив холодок зубов.

– Игорь, Игорек, – шепотом говорила она, чуть отодвигаясь, но не отталкивая его. – Игорек, милый, не надо!

«Что я делаю? – с ужасом подумал Игорь. – А Оля?»

Руки его скользнули с плеч Насти. Она отвернулась, быстро отошла к печке. Долго молчали.

«Обиделась», – решил Игорь, поглядывая на девушку, стоявшую спиной к нему.

– Ты не против, что я в Москву собралась? – спросила вдруг Настя.

Голос ее звучал неуверенно.

– Конечно, нет! Это ведь даже здорово! – воскликнул он. – Вдвоем веселей будет!

Он радовался тому, что Настя не заплакала, что все кончилось так просто и хорошо.

Строго наказав Славке и Людмилке, чтобы не мешали, Игорь учил в беседке литературу. Дело двигалось медленно. Он часто задумывался, отвлекался. После встречи с Настей все перепуталось у него в голове. Он то бранил себя за несдержанность, называл тряпкой и подлецом, то радовался, что отомстил Ольге. Ведь и она тоже целовалась, наверное, со своим моряком.

Конечно, Ольга особенная, красивая, ни одна девушка в Одуеве не могла сравниться с ней. Зато Настя проще и ближе ему. И уж она-то никогда не изменит, не будет встречаться с другим.

– Иго-о-орь! – услышал он протяжный крик Марфы Ивановны. – Ребята к тебе!

– Эй, в беседку идите! На дорожке появились Виктор Дьяконский и Сашка Фокин. «Пат и Паташон, – усмехнулся Игорь. – Правильную им кличку дали!»

Худой и длинный Виктор на две головы выше толстяка Сашки. Сейчас худобу Дьяконского подчеркивало то, что он был в футболке и белых летних брюках, а на Фокине широкий пиджак, делавший его почти квадратным. Лицо у Сашки пухлое, расплывшееся. Маленький нос потонул среди щек. И вообще весь он какой-то мягкий, округлый. У Виктора же, наоборот, все резкое, угловатое: острые колени, острые плечи, острый выпирающий подбородок.

Дьяковский – человек замкнутый и серьезный. Читал газеты и толстые скучные книги. Держался всегда прямо, по-военному, не сутулясь. Школу он окончил отличником. На выпускном вечере подвыпивший математик во всеуслышание заявил, что у Дьяконского профессорская голова.

А Сашка Фокин, по общему признанию, умом особенно не блистал. С грехом пополам проучившись семь лет, он работал теперь на сушильном заводе. Жил в свое удовольствие: играл в духовом оркестре, ухаживал за девушками, ездил на рыбалку. Был он добродушен, любил поесть, отчебучить что-нибудь смешное. На книги у него времени не хватало, и Дьяконский иногда заставлял его прочитать вслух пару страниц, «чтобы не забыл алфавит!»

Дьяконский и Фокин мечтали о военной службе, но мечтали по-разному. Виктор изучал Цезаря, Суворова и Клаузевица, знал историю наполеоновских войн, мог хоть сейчас сдать экзамен по любому уставу. У него была ясная цель: стать командиром. Желания Сашки гораздо скромнее. Военный оркестр, сверкающая на солнце медь труб, марш, под звуки которого шатают в ногу сотни людей, – во сне и наяву видел Фокин эту картину.

Игорь завидовал им обоим. У них уже все определилось, они знали, чего добиваться. А Игорь еще не нащупал себе места в жизни. И по росту и по характеру он занимал какую-то середину между Дьяконским и Фокиным. Вырос выше Сашки, а Виктору едва доставал до плеча. Он даже не знал, кто из друзей ближе ему. Иногда интересно было подурачиться, посмеяться с Сашкой. А с Виктором можно спорить о чем угодно: о добыче алмазов в Африке, о новом сорте картошки, о будущем авиации...

– Мы по делу, – объявил Фокин, – Даже по двум делам. Завтра на базаре нужно крольчиху на кролика обменять. Поможешь?

– Попробую.

– Теперь второе. Про массовку ты слышал?

– Говорили мне... – Игорь запнулся. – Коноплева мне говорила.

– Во! Народу будет полно. Заводские наши, из культпросветшколы девчата.

– Понимаешь, Игорь, – вмешался Дьяконский, – может быть, это последняя наша массовка. Ну и хочется отметить ее с огоньком.

– И с выпивкой, – предложил Сашка. – Собраться своей компанией – ив кусты на Большой обрыв. Можно девчат с завода позвать. Ваши-то ученицы больно уж тихие. С ними не развернешься.

– Не надо, – сердито сказал Игорь. – К дьяволу всех девчонок. Соберемся одни.

– Водку возьмем?

– Жарко. Лучше пива. Только на какие шиши?

Сашка понимающе кивнул.

– Монеты – это самый главный вопрос. У меня у самого в кармане вошь на аркане.

– У меня – блоха на цепи, – улыбнулся Виктор.

– Что же делать?

– А вот покурим, подумаем. – Фокин ловким движением выбросил из пачки две папиросы. – Подымим, Витя. Ты пораскинь своей светлой головой, с чего начать.

– Попробую. – Дьяконский лег на лавку, вытянул ноги. – Тихо, братцы. Пять минут на размышление.

К старой груше стремительно подлетел воробей с червяком в клюве, сел на край дупла, посмотрел направо, налево и нырнул в щель. Из дупла послышался писк.

– Продовольствием снабжает, – приподнялся Дьяконский.

– Слушай, ваше благородие, – сердито сказал Сашка. – Мы сидим молчим, как дураки. А ты? О деле думаешь или о воробьях?

– О деле. Можешь считать, что деньги уже в кармане. Все очень просто. Надо продать учебники, нам теперь они ни к чему.

– Я же говорил – светлая голова! – обрадовался Фокин. – Конечно, продать, нечего дома пыль разводить.

– Мне некоторые книги нужны, – возразил Игорь.

– Оставь нужные.

– Но ведь мало будет...

– В общей куче сойдет, – решил Фокин. – Теперь так. Витька новое дело сделал. Продавать буду я. Ну, а Игоря назначим казначеем. Он парень честный, некурящий, капитал на папиросы не изведет...

В сад закрадывались синие сумерки. Небо приобрело какой-то странный, фиолетовый оттенок. Порывами набегал ветер, заставлял дрожать лепестки хмеля на беседке.

– Эх, братцы! Последние денечки мы вместе, – вздохнул погрузневший Игорь. – Разъедемся в разные стороны, и дружбе нашей конец, значит?

– Это по какому же правилу? – удивился Сашка. – Сколько мы вместе? Три года? Ну, и давайте на всю жизнь один другого держаться!

– Я, ребята, медленно с людьми схожусь, – заговорил Дьяконский. – Но уж если сошелся, то накрепко.

– Что бы ни случилось, дружбу не терять, верно? – Игорь протянул Виктору руку. Тот крепко сжал ее. Сверху легла шершавая ладонь Сашки.

От Георгиевской церкви до выгона, где паслись слободские коровы, протянулась базарная площадь. Колхозники торговали здесь мясом, битой и живой птицей, маслом, горохом и луком – всякой домашней снедью. В дни привоза, по средам и воскресеньям, длинной шеренгой выстраивались телеги с задранными вверх оглоблями.

Возле церкви – толкучка. Тут можно найти и самовар, и колеса для телег, и старинные стенные часы, и расписные глиняные свистульки. На паперти ребятишки покупали и обменивали кроликов, голубей.

Многие приходили на базар просто так, потолкаться, полущить семечки, людей посмотреть и себя показать. Деревенские девки щеголяли красными платками с бахромой, пестрыми кофтами. Парни потели в тесных праздничных пиджаках. Мужики, сбиваясь небольшими компаниями, соображали насчет выпивки. Торговали бабы – голосистые, злые, дуревшие к концу дня от жары и шума. Трое друзей пробирались через гомонившую толпу. Сашка тащил кролика в ящике. Самка ангорской породы испуганно мигала красноватыми глазами.

– Упарился, – оказал Фокин, ставя ящик на землю. – Передохнуть надо. Ну, кто медку хочет?

– Ступай сам. Тоже удовольствие – из-за двух ложек крик на весь город.

– А что за базар, если крика нет?

Игорь и Виктор остановились возле телеги, заваленной пучками молодой редиски. На охапке свежей травы сидела девушка лет шестнадцати в длинном сарафане из грубого домашнего полотна, с вышитыми голубыми васильками. Лицо ее, полудетское, с мягко округленным подбородком, невольно привлекало внимание свежестью, милым и наивным выражением. Кожа белая, не тронутая загаром. Но это была не болезненная бледность горожанки, а здоро-

вая, будто мраморная белизна, которую умело берегают деревенские девчата в любую жару, платками закрывая лица.

Светлые волосы ее были заплетены в короткие косички с красными лентами на концах. Она с любопытством и в то же время с некоторой робостью смотрела на гудевший вокруг телеги людской водоворот.

Старый бельмастый мерин, равнодушно жевавший траву, повернул голову, ткнулся большими, отвисшими губами в ногу девушки.

– Ну, не балуй, – отвела она рукой его морду.

Заметив парней возле воза, спросила:

– Вам редиски?

– Покажи.

Виктор взял пучок, понюхал, провел ладонью по колючим листьям. Сказал солидно:

– Хороша на закуску.

– Берете?

– Мы не пьющие. Скажите лучше, как зовут вас?

– Зачем? – удивленно взметнулись белесые ресницы девушки.

– Я прошу, – серьезно произнес Виктор. – Понимаете, я очень хочу знать ваше имя.

Игорь чуть не присвистнул от удивления. Виктор Дьяконский, единственный парень из класса, никогда не друживший с девчонками, доказывавший на исторических примерах, что только те полководцы, которые не увлекались амурными делами, добились истинно великих побед, – этот Виктор изменился сейчас на глазах. Даже голос его звучал без обычной резкости.

Прижимая к себе ящик с крольчихой, Игорь подвинулся ближе.

– Василиса, – услышал он тихий голос.

К возу подошли покупатели, начали прицениваться, перебирать редиску. Дьяконского оттерли в сторону.

– Пошли? – толкнул локтем Игорь.

– Куда? – недоумевающе спросил тот, продолжая смотреть на девушку.

– Забыл, что ли? На паперть нам нужно.

– Да, да, конечно, на паперть, – бормотал Виктор и вдруг продекламировал:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Старик иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья...

– Пучок редиски он просил, и взор являл живую муку, – добавил насмешливо Игорь. – Эка, парень, как швыряет тебя нынче.

– А ты не находишь, что она какая-то очень своеобразная?

– Представь себе, не нахожу. В каждой деревне есть Василиса такая.

– Не знаю, не видел. Если бы я был художником, обязательно написал бы ее. Очень простое лицо и в то же время необычайно одухотворенное...

– Выдумываешь ты, – махнул рукой Игорь.

– А Сашки-то все нету, – спохватился Дьяконский.

Фокин находился в это время в продуктовом ряду, отведал уже три сорта меда.

«Попробую теперь у той бабы-яги», – решил он.

Бабка в серой шали, с горбатым носом на темном цыганистом лице, сидела за прилавком, устало смежив глаза, дремала на солнце. пеке.

– Продаешь, бабуся?

– Покупай, касатик, покупай, – проснулась старуха. – Хороший медок, липовый. Она достала деревянную ложку, вытерла подолом исподней юбки.

– Надо бы полотенце иметь, – упрекнул Сашка.

– Тряпка есть, да запылилась. А исподняя чистая, ты не бойсь, касатик.

Фокин не спеша зачерпнул, понюхал с видом знатока. Облизав ложку, покачал головой.

– Горчит, бабуся. Дай-ка мне вон из той махотки.

Старуха развязала другой горшок. Сашка попробовал из него. Съел три ложки, полез было еще, но бабка остановила сердито:

– Хватит. Берешь, что ли?

– Не... Медок не того, – Фокин с трудом ворочал липким языком. – Дух не тот... Другого-то нет попробовать?

– Ах ты анчихрист, – взъярилась старуха. – Дух ему не такой! – закричала она. – Четыре ложки сожрал, окаянный! Чтоб тебя разорвало, чтоб тебе брюхо вспучило!

– Тихо, бабушка, тихо... Он от бога, мед-то, а ты всякие слова произносишь, – пятась, урезонивал Сашка. – Грех ведь тебе, одной ногой в гробу стоишь, а ругаешься, как в кабаке!

– Пеночник, иродово семя!

Бабка трясла сухими кулаками, на крючковатом носу дрожала светлая капля.

– Смотри, сопля в мед упадет! – не выдержал Сашка.

– Держи его! Ворюга! Грабитель!

Дело принимало нешуточный оборот. Фокин поспешил укрыться за чужими спинами. Вокруг бабки росла толпа.

Сашка, посмеиваясь, отошел подальше. На паперти увидел Игоря, сидевшего возле ящика с кроликом.

– А Витька где?

– Ну вас к черту обоих, – обозлился Булгаков. – Я что, нанялся этот зверинец стеречь? Торчу тут один, как дурак.

Сашка занялся, наконец, делом. На все лады расхваливал свою крольчиху, кричал, что она пять раз в год приносит по десять крольчат. Но агитация не имела успеха. Покупателей нашлось много, а вот меняться никто не хотел.

Продав крольчиху вместе с ящиком, двинулись на поиски Виктора. Игорь сразу направился к возу с редиской. И не ошибся. Дьяконский стоял возле девушки, говорил что-то, похлопывая рукой по спине лошади. Василиса смеялась и отрицательно качала головой.

– Эге-ге! – Фокин сдвинул на затылок кепку. – Стена! Кремень! Суворов баб не любил, поэтому сражения выигрывал. Чьи это слова?

– Витькины.

– Ну вот, – крутнул головой Сашка. – Можешь записать: полководец Дьяконский погиб в конце июня тысяча девятьсот сорокового года, не одержав ни одной победы.

– Одну-то, пожалуй, одержит.

Они уселись неподалеку от телеги, прислонились к коновязи. Теперь им видны были только ноги Виктора и Василисы. Дьяконский стоял спокойно, его матерчатые тапочки будто приклеились к земле. Складки серых брюк почти касались широкого подола с синими васильками. Зато ноги девушки все время двигались. Она то притопывала пяткой, то делала маленький шаг.

– Идиллия! – буркнул Игорь.

– Чудак Витька, – ответил Фокин. – Вот так всю жизнь чудит. Мало ему девчат в городе? Сонька Соломонова глаза на него пучит, чуть не вывалятся... На роялях играет. Красивая, и вообще...

– Одностороннее тяготение, Саша. Этого, брат, недостаточно. Тут взаимное влечение должно быть.

– Это конечно, – согласился Фокин. – Без влечения в таком деле ни хрена не получится. По себе знаю...

Базар расходился, народу стало меньше. Мужики запрягали лошадей.

Дьяконский попрощался, наконец, с девушкой, зашагал к церкви. Игорь и Сашка нагнали его в конце площади.

– Вы тут еще? – удивился он. – Где же вы были?

– Так гуляли, – неопределенно протянул Фокин. – Ходили и рассуждали о кроликах да о васильках.

– Вот навязались пинкертонеры на мою голову! – усмехнулся Виктор. – Ну, а теперь куда двинем?

– Теперь купаться. Ровнять грешное тело с невинной душой.

В киоске на углу улицы Дьяконский купил газету. Быстро просмотрел четвертую страницу, бегом догнал ребят.

– Свежая? – спросил Игорь. – Какие новости?

– Немецкие танки вышли к линии Мажино.

– Погоди, как это вышли? Ведь Мажино на франко-германской границе, а немцы уже Париж взяли.

– С запада вышли, понимаешь, с той стороны. Они и не штурмовали в лоб эту линию. Ты понимаешь, как они начали наступление? – Виктор сел на своего любимого конька. О военных делах он мог говорить без усталости. – Ведь они нанесли удар севернее, где их не ждали. Генерал Гудериан собрал огромный танковый кулак, прорвался через Бельгию до самого моря и повернул на юг.

– Значит, Франции конец?

– Хватит вам, ребята – вмешался Фокин. – Надоело. И по радио и в газетах одно и то же: Германия – война, война – Германия!

– Синонимы, Саша, – засмеялся Дьяконский.

– Чихал я на эти синонимы. Ты скажи лучше, фамилию-то ее знаешь?

– Гм... Светлова ее фамилия.

– Правильно. А отец ее в стояловском колхозе пасечник.

– Слушайте, черти, откуда вам все известно?

– Глаза даны человеку для того, чтобы видеть, уши – для того, чтобы слышать, – торжественно сообщил Игорь.

– Эх, жизнь! – весело выкрикнул Саша, семенивший последним. – Люблю лето. Купайся, с девчонками в лес ходи. А теперь скоро грибы начнутся. Отпуск возьму...

Дьяконский промолчал, думая о своем. Вычитанная в газете фамилия Гудериана ничего не значила для ребят. Для них это был пустой звук. А Виктору она напоминала многое. Впервые он услышал о Гудериане лет пять назад. В то время отец Виктора, комдив Дьяконский, был еще жив и преподавал в военной академии. Как-то вечером он готовился дома к тактической игре. На полу кабинета была расстелена большая карта, и он, сняв сапоги, ползал по ней, вооруженный блокнотом, цветными карандашами и циркулем.

Для отца это было любимым делом, а для Виктора в ту пору – любимым развлечением. Отец рассуждал вслух, и, когда он говорил, карта будто оживала, Виктор различал на ней проселки и асфальтированные дороги, лесистые высоты и обрывистые берега; синие стрелки превращались в дзоты и пулеметные гнезда, кружочки – в артиллерийские позиции, линии точек – в минные поля.

В тот раз отец разбирал тему: прорыв заранее подготовленной обороны противника на границе Восточной Пруссии в районе Гумбиннена.

Виктор ползал по карте вслед за отцом, подавая ему цветные карандаши и записывая в блокнот цифры. Отец рассчитал, какую артиллерийскую подготовку требуется произвести,

чтобы подавить огневые точки. Потом он спросил, на сколько сможет за день продвинуться пехота с танками, войдя в прорыв. Такие вопросы задавались обычно полшутя, но комдив Дьяконский сердился на сына, если тот отвечал наобум, не подумав.

– В первый день возьмем Гумбиннен, – сказал тогда Виктор. – Его надо поскорей взять. Тут ведь несколько дорог сходятся, значит, город важный.

– Тридцать километров, – приставил циркуль отец. – Не слишком ли далеко?

– Нет, папа, на танках можно быстро проехать.

– Ты рассуждаешь, как некоторые мои слушатели. Не из лучших, – усмехнулся отец. – Есть у нас такие, что любого противника шапками закидают. Дорога тут хорошая, с твердым покрытием, это верно. Но ведь танки-то не на экскурсию отправятся. Противник будет воздействовать авиацией, будет контратаковать бронетанковыми силами.

– А ты сам говорил, что у немцев танков мало.

– Ладно, – снова усмехнулся комдив. – Если ты хочешь, будем подразумевать под словом «противник» именно немцев. Да, сегодня танков у них еще недостаточно. Однако завтра их может быть очень много. У них сейчас лозунг: «Пушки вместо масла!»

Отец поднялся, взял с письменного стола газету и протянул Виктору.

– Посмотри.

Газета была берлинская. Середину первой страницы занимал большой снимок, на котором улыбающийся Адольф Гитлер пожимал руку генералу в высокой фуражке. Генерал тоже улыбался, но худое, аскетическое лицо его все равно оставалось недовольным. Виктору особенно запомнились его тонкие, плотно сжатые губы. Виктор подумал тогда, что такие губы могут быть только у злого человека. За спиной генерала, на втором плане, смутно вырисовывались контуры громоздких черных машин.

– О нем мы с тобой еще услышим, сынок, – сказал комдив Дьяконский, тоже смотревший на снимок.

– А кто это?

– Гейнц Гудериан, создатель германских бронетанковых сил. И прежде чем начинать наступление на Гумбиннен, нам надо подумать о встрече с ним... Или с другим генералом: у Гитлера теперь их достаточно. Ты понял меня, сынок?

Да, Виктор, конечно, понял. Тогда, на карте, они все-таки разгромили немцев; правда, не очень скоро, но разгромили. Так заканчивалась в академии каждая тактическая игра: противник обязательно оказывался побежденным. Впрочем, иначе и невозможно. Ну, кто же будет громить в пух и прах самого себя!..

После того разговора с отцом Виктор несколько лет ничего не знал о Гудериане. Но в последнее время эта фамилия стала встречаться в газетах все чаще и чаще.

* * *

Командира танковой группы Гудериана солдаты называли «быстроходным Гейнцем». Генерал ничего не имел против такой шутки. Он был убежден, что миновали времена позиционных войн, когда войска месяцами и годами стояли на месте, зарывшись в землю, когда можно было руководить ими из штаба, в глубоком тылу. Наступила эпоха маневренной войны, войны моторов. Танковые дивизии Гудериана продвигались за сутки на тридцать, сорок, а то и на пятьдесят километров. Обстановка на фронте быстро менялась. Чтобы оперативно руководить войсками, надо было двигаться вместе с соединениями.

После того как танковая лавина вышла к побережью Ла-Манша, а затем повернула на юг, Гудериан отдал своим частям приказ наступать до последней капли бензина. Сметая отступавшие подразделения французов, оставляя на расправу пехоте укрепленные пункты, танко-

вая группа почти без остановок катилась вперед, обходя с запада линию Мажино, ломая тылы французских армий.

Было ясно, что кампания близится к концу. Обескровленные, измотанные боями дивизии противника еще продолжали сопротивляться. Но Париж находился уже в руках немцев, ушло в отставку правительство. А новое, которое возглавил дряхлый маршал Петэн, предложило заключить перемирие.

Ранним утром 18 июня Гудериан выехал в командирском танке из Монбельяра в Бельфор, небольшой городок со старой крепостью, прикрывавшей проход между горами Юра и Вогезами.

Танк Гудериана двигался прямо по полю, параллельно дороге, тяжело переваливаясь на рытвинах, с хрустом ломая изгороди. Гусеницы вдавливали в землю молодую зеленую пшеницу, за танком тянулся по полю двойной черный след.

Дорогу скрывало облако пыли. Внизу пыль висела плотной стеной, медленно растекалась в стороны, оседала, окрашивая все вокруг в серый цвет. Вверху, где струился с гор легкий утренний ветерок, пыль клубилась, как дым. Если смотреть вдаль, казалось, будто воя обширная долина от края до края охвачена, грандиозным пожаром.

Из Бельфора, навстречу машине Гудериана, шли большие группы пленных. Их охраняли мотоциклисты. Усталые, сгорбленные французы брели, опустив головы, конвоиры подгоняли их криками. Пыль запорошила лица пленных, их форму, знаки различия. Все они были одинаковы в этом стаде. Только глаза разные. Удивление, страх, ненависть можно было прочесть в них.

Солдаты шли. А вдоль дороги стояли сотни и тысячи машин: грузовики с боеприпасами, танки, мотоциклы, броневики, орудия разных калибров – техника, годами создававшаяся для войны и брошенная теперь по чьему-то приказу. Солдаты не могли понять, зачем нужно было капитулировать, отдавать врагу оружие и, оставшись с голыми руками, сдаваться немцам.

Дорога пересекала небольшую деревушку на холме. Здесь совсем недавно был бой. Возле мелких окопов лежали трупы солдат. В деревне не осталось ни одного целого дома, они были разрушены или сожжены. Дымились развалины. Земля была изъедена воронками. Валялись лошади с огромными, вздувшимися животами.

Гудериан спокойно смотрел на эту привычную картину опустошения. Он был не из тех генералов, для которых война – это разноцветные стрелки на штабных картах. Он знал грязную сторону войны. Она была закономерна, и обойтись без нее невозможно. Гудериан старался представить себе картину боя. Возле окопов следов гусениц почти нет, зато их много в деревне. Значит, танки ударили с фланга. Чувствуется его школа – никогда не бить в лоб; нащупать слабое место в обороне противника, обойти врага, ворваться стремительно, неожиданно, сея смерть.

У выезда из деревни он увидел разбитый обоз беженцев. Тут, вероятно, поработала авиация. Людей не было. Повозки лежали на земле вверх колесами. Повсюду разбросаны тряпки, узлы, распоротые перины, кастрюли. Среди этого хаоса стояло мягкое, с золоченой спинкой кресло на гнутых ножках, и в нем отдыхал, вытянув перевязанную ногу, солдат-мотоциклист в кожаной куртке.

Возле глубокой воронки лицом вверх лежал труп женщины с неестественно заломленными за голову руками. Близкий взрыв сорвал с женщины всю одежду. Кожа обгорела, обуглилась. Волосы смешались с землей. На черном лице резко выделялся ряд белых зубов. Казалось, этот бесстыдно обнаженный труп усмехается, глядя пустыми глазницами в небо.

Адъютант генерала, высокий и худой капитан, вытянув длинную шею, поворачивал голову, с любопытством рассматривая убитую.

– Прикажете, чтобы сейчас же убрали, – недовольно произнес Гудериан.

Адъютант прыгнул с машины.

Солнце начинало припекать, и в воздухе чувствовался запах разложения. Гудериан морщился, плотно сжав губы маленького рта, прикрывал нос надушенным платком.

– Вперед! – нетерпеливо бросил он.

Голенастый адъютант бегом догнал их, вскочил на броню.

Движение на дороге ослабевало. Танк Гудериана приближался к Бельфору. На обочине стояли, задрав в небо стволы, тяжелые орудия. Генерал заинтересовался ими. Пушки были в полной исправности, замки целы.

Адъютант, вращая маховик, опустил ствол и, открыв замок, заглянул внутрь. Потом сунул в казенник свой длинный белый палец.

– Ни одного выстрела, господин генерал.

Гудериан усмехнулся. Вот так и надо воевать. У французов и англичан танков и пушек было не меньше, чем у немцев. Все теперь разбито, брошено на дорогах. Внезапность, скорость решили дело. Солдаты Гудериана не дают французам остановиться, опомниться, подготовиться к обороне. Полтора месяца танкисты непрерывно движутся вперед и вперед...

Адъютант между тем разглядывал массивный снаряд, лежавший в траве, возле лафета пушки.

– Я бы не хотел, чтобы такой поросенок наведлся в нашу машину, – покачал головой капитан.

– Это исключено. Французы умеют стрелять только в мирное время, на полигоне.

Адъютант занес в записную книжку слова генерала и поставил дату. На его глазах делалась история, и капитан хотел сохранить для будущих поколений Третьей империи мысли и слова людей, создававших Великую Германию.

Машина двинулась к городу. Впереди показались островерхие крыши домов, крепостные валы. Странно, что над фортами не были подняты немецкие флаги. До слуха доносились приглушенные звуки оружейных выстрелов.

Гудериан остановил проезжавшего мимо мотоциклиста, маленького ефрейтора с синими глазами на грязном, давно не мытом лице, спросил, где находится штаб 1-й танковой дивизии.

– Здесь, в городе, господин генерал.

– Почему стреляют?

– Французы удерживают форты. Наши выкуривают их оттуда.

Ефрейтор узнал Гудериана, отвечал без робости, весело и быстро.

– Был в Польше? – спросил Гудериан.

– Так точно. До самого Бреста.

– Хорошо. Поезжай вперед, покажи дорогу.

В городе действительно шел бой, но велся он без особого напряжения. Изредка и недружно били пушки. Автоматы строчили короткими очередями.

На узких улочках спокойно разгуливали солдаты, весело и громко перекликались. Некоторые, в одних трусах, обливались водой из ведер, другие возились возле грузовиков, заправляли их. Перед одним из домов, в палисаднике – доходная кухня. Повар в белом колпаке сидел на скамеечке среди цветов и чистил картошку. А за углом, поставив посреди улицы накрытый скатертью стол, завтракали четверо младших офицеров.

Генерал проехал мимо, не останавливаясь, одобрительно кивнул: танкисты заслужили свой отдых.

Штаб 1-й танковой дивизии находился в отеле «Париж». Гудериан вошел в вестибюль, усталый дорогами коврами. На лестнице раздались торопливые шаги, со второго этажа бегом спустился начальник штаба дивизии майор Венк. Известие о прибытии командира танковой группы застало его в тот момент, когда он только что начал бриться. Он едва успел стереть с лица мыльную пену.

– Где генерал Кирхнер? – спросил Гудериан.

– Командир дивизии принимает ванну, – смущенно ответил Венк. – Я доложу сейчас.

– Не надо, потом, – усмехнулся Гудериан. – Пусть смоеет дорожную грязь... Где у вас находятся пленные французские офицеры?

– На той стороне площади.

– Проводите меня к ним.

По дороге Венк рассказал Гудериану, что дивизия ворвалась в город с ходу. Войска, занимавшие казармы, капитулировали без боя, под угрозой танковых пушек. Но гарнизоны фортов сдаться в плен отказались. Командование дивизии создало специальную группу, которая сейчас штурмует форты. Дивизия готовится продолжать марш.

Пленные офицеры содержались в казарме. Гудериан пришел сюда не для того, чтобы посмотреть на них – за последнее время повидал достаточно. Сейчас обстановка давала возможность продемонстрировать великодушие победителя. Война кончится в ближайшие дни, и бог знает, представится ли еще такой удобный случай.

Генералу подали плоский солдатский котелок, раскладную алюминиевую ложку-вилку, и Гудериан снял пробу завтрака. Для пленных завтрак был совсем неплох, тем более, что готовил его, под наблюдением немца-повара, повар-француз. А продуктов для своей армии французское интендантство припасло достаточно.

Адъютант несколько раз щелкнул затвором «Кодака», засняв всю группу: и генерала, и пленных, и повара. В отель Гудериан возвратился довольный. На прогулку было затрачено пятнадцать минут. Зато совесть его чиста и перед ботом, и перед людьми.

Вместе с командиром дивизии генерал отправился в только что павший форт Басс-Перш. Каменные стены и земляные валы форта сильно пострадали от артиллерии; снаряды разрушили укрепленные точки. В воздухе держался запах дыма и серы.

Форты крепости давно устарели. Они могли укрыть людей от пулеметного огня, частично от мин, но артиллерии не представляло большого труда разбить их. Форт От-Перш, за штурмом которого решил наблюдать Гудериан, вообще не был похож на укрепление. Вал его зарос травой. За валом – крыши домов среди густой зелени, деревянные ветхие заборы. Форт напоминал маленький хутор, а не военное сооружение.

Штурм начался огнем налетом. Ударили полевые и танковые пушки. Один из первых снарядов угодил в красную крышу дома; в бинокль хорошо было видно, как летели доски и бревна перекрытий. Крыша исчезла. Сотни взрывов молотили землю, форт затянуло дымом и пылью. В грязно-сером облаке вспыхивали желтые при свете солнца огоньки разрывов, будто там кто-то одну за другой зажигал спички.

Артиллерийская подготовка закончилась. Оборвался грохот. После него слабым казалось урчание нескольких десятков моторов. К форту двинулись бронетранспортеры с солдатами. В центре цепи и на флангах тягачи везли 88-миллиметровые зенитные пушки.

Облако над фортом рассеивалось. Если раньше форт ничем не выделялся среди зеленых пригорков, каких много было в этих местах, то теперь вид его был ужасен. Снаряды уничтожили кусты и деревья, вал из зеленого превратился в черный. Горели остатки домов.

Но израненный, изрытый воронками кусок земли еще жил. Оттуда раздавались выстрелы. Они раздражали Гудериана. К чему это бессмысленное сопротивление? Сдаются в плен целые дивизии, целые корпуса. На что надеется эта горстка безумцев, когда ясно, что война французами уже проиграна?

Бронетранспортеры остановились возле самого рва, высаживая пехотинцев. И вдруг из форта ударил пулемет. Очередь пришлось по группе немцев, только что спрыгнувших с транспортера. Солдаты попадали на землю, Гудериану показалось, что он слышит крики.

Пулемет бил торопливо, длинными очередями, будто спешил, зная, что ему не дадут стрелять долго. На несколько минут он прижал к земле пехотинцев, наступавших в центре, но на флангах атакующие уже преодолели ров, быстро лезли на вал.

Зенитная пушка, развернувшись, послала прямой наводкой три снаряда. Они разорвались почти в одном месте. Пулемет умолк. Снова поднялись и побежали солдаты.

Еще несколько минут слышались взрывы гранат, автоматные очереди. Потом все стихло. На вершине оголенного дерева в центре форта появился немецкий флаг.

– Пройдемте, господа, – оказал Гудериан. – Меня интересуют результаты обстрела.

Следом за автоматчиками генералы поднялись на вал, прошли вдоль старых, полузасыпанных траншей, задержались на минуту возле железобетонного колпака дота, разбитого прямым попаданием снаряда.

– Пулемет бил отсюда, – объяснил командир штурмовой группы. – А вот тут они бросили в контратаку свой резерв.

– Сколько?

– Один взвод.

Там, куда указал командир штурмовой группы, валялись убитые, французы и немцы. Французов было больше. Они поднялись в контратаку с винтовками наперевес, и немцы расстреляли их из автоматов. Среди трупов лежал на спине молодой французский лейтенант. Он будто закрывал своим телом распластанное на земле полотнище флага, разорванное пополам. Рука офицера крепко сжимала белое, свежеструганное древко.

Взрывом гранаты лейтенанту разворотило живот, опалило волосы. Голова его была запрокинута, шея пробита осколком. Гудериан, глядя на убитого, внутренне содрогнулся. Этот молодой француз лицом напоминал его младшего сына, воевавшего сейчас здесь же, во Франции. Правда, после того как ранен был старший сын, Гудериан позаботился, чтобы младшего перевели из разведывательного батальона в конвойный. И все-таки беспокойство не покидало его.

Часто, толчками забилось сердце, будто поднялось к горлу, мешая дышать. Оно вообще пошаливало последнее время. Оказывалась усталость, нервное напряжение.

– Эти солдаты дрались как герои, – громко произнес Гудериан. – Похороните их с воинскими почестями.

Генерал Кирхнер отошел, чтобы отдать необходимые распоряжения.

– Наши потери? – спросил Гудериан командира штурмовой группы.

– Девять убитых, одиннадцать раненых.

– Ну, вот. Пусть не говорят, что победа во Франции досталась нам легкой ценой. – Гудериан покосился на адъютанта. Тот записывал. – Мы купили эту победу ценой жизни лучших сынов Германии.

– Разрешите начать штурм следующего форта? – спросил Кирхнер. – Вы будете наблюдать?

Гудериан вскинул к глазам бинокль. Артиллерия открыла огонь по форту, находившемуся в черте города, среди домов. Снаряды падали не только на укрепления, но рвались и в садах и на улицах.

– Нет, Кирхнер, я еду дальше.

Саперы уже перекинули через ров штурмовой мостик, Гудериан неторопливо прошел по гнувшимся доскам к своей машине.

Французские солдаты под охраной автоматчиков стаскивали в одно место трупы убитых товарищей. На краю рва пленные рыли братскую могилу.

День 22 июня 1940 года оказался счастливым для Третьей империи. Было заключено перемирие с французами, война закончилась большой победой. А Гудериану этот день принес особую радость: его танкисты заняли Кольмар, эльзасский городок, где он провел свое детство, где служил когда-то его отец, офицер прусской армии.

Из окна гостиницы видна была прямая улица, вымощенная квадратными плитами, аккуратные, однообразные домики. Дальше – поля и синеватая цепь холмов, замыкающих горизонт.

– Приятно, черт возьми, отвоевать свой город, – негромко говорил Гудериан, расхаживая по комнате. Он отослал адъютанта, приказав никого не пускать к себе. Ему хотелось побыть в одиночестве.

Никому не известным мальчиком уезжал он отсюда в кадетский корпус. А возвратился победителем, прославленным генералом. Колесо истории совершило еще один оборот, замкнулась еще одна цепь событий. И он доволен тем, что нашел свое место в этих событиях. А путь был тяжел. Много сомнений, колебаний и разочарований подстерегало на неизвестной дороге, Но Гудериан не раскаивался, что пошел за Гитлером. Нет, не раскаивался, хотя ему, кадровому офицеру, первое время трудно было привыкнуть к мысли, что у власти стоит человек без прошлого, и даже не чистый немец, а австриец Шиккльгрубер, дослужившийся до ефрейтора. Но Гитлер-Шиккльгрубер сумел воссоздать вооруженные силы Германии, а это было главное.

Гудериан не покинул армию после поражения в первой мировой войне. Слабая, сжатая ограничениями Версальского договора, лишенная техники, германская армия продолжала существовать: исподволь, обходя пункты договора, готовила кадры.

Еще в те трудные годы Гудериан занимался разработкой теории будущей войны, главную роль в которой должны играть бронетанковые силы. Он не изобрел что-то новое. Блицкриг – молниеносная война – и раньше была одной из главных идей германского генштаба. Страна находилась в центре Европы. Со всех сторон – сильные противники. Значит, надо избегать войны на два фронта. Сосредоточить всю мощь армии на одном направлении, быстро сокрушить одного врага и повернуться лицом к другому. Бить противников поодиночке – в этом заключалось все дело.

Армии страд-победительниц жили традициями первой мировой войны. В Англии и Франции танки использовались для поддержки пехоты. Там не создавалось крупных механизированных соединений, способных самостоятельно решать стратегические задачи. Такие соединения имелись лишь в Красной Армии. Немцы должны были не отстать от русских. Но только не отстать – этого мало, надо еще и обогнать их.

А в то время у Германии не было ни танков, ни самолетов. Собственно, в Веймарской республике не было ничего, кроме беспорядков. Заводы бездействовали, миллионы людей скитались без работы. И чем хуже становилось положение в стране, тем больше рос авторитет коммунистов. На последних выборах в республике коммунисты получили шесть миллионов голосов.

Германии нужна была сильная, беспощадная рука. И такая рука нашлась. Гитлер, захватив власть, поставил ясную цель: возродить былое могущество страны. К этой цели он пошел напрямик, уничтожая тех, кто сопротивлялся ему. Он начал расширять и укреплять армию, и в этом отношении интересы Гудериана сразу совпали с интересами фюрера.

В 1932 году Гудериан, командовавший третьим прусским автомобильным батальоном, вывел на учения макеты танков, сделанные из фанеры, – настоящих боевых машин у немцев еще не было. Пехотинцы и артиллеристы смеялись над горе-танкистами, не окупись, показывали свое остроумие. На ученьях произошел смешной и печальный случай. Во время атаки оборонявшиеся солдаты, разозлившись, забросали фанерный танк камнями, заставили его отступить и даже поранили одного «танкиста».

Гитлер сразу оценил значение бронетанковых сил. Сделавшись рейхсканцлером, он приехал в Куммерсдорф осмотреть механизированные подразделения, созданные Гудерианом. Перед Гитлером прошли броневики, учебные танки Т-I, промчались мотоциклисты. Быстрота, четкость действий произвели на фюрера большое впечатление.

– Вот это мне и нужно! – воскликнул он.

С тех пор прошло всего только семь лет. Бывший подполковник Гудериан стал генерал-лейтенантом танковых войск. У Германии появились прекрасно обученные и хорошо оснащенные бронетанковые силы. И вот результат: Австрия присоединена к рейху, разгромлены

Чехословакия, Польша, Франция, оккупированы Дания и Норвегия. На краю пропасти стоит Англия – вечный противник и конкурент...

В эту ночь Гудериан не сразу заснул, хотя раньше никогда не страдал бессонницей. Солдату, закалявшему свой организм, стыдно жаловаться на такую болезнь. А пятьдесят два года – это еще не слишком, большой возраст. Просто Гейнц был возбужден событиями. Он лежал на широкой кровати в длинной ночной сорочке, с колпаком на голове, смотрел в темноту. По улице изредка проезжали машины, полосы света от фар проникали сквозь шторы, и тогда становились видны картины на стене, развесистые олени рога в углу комнаты.

За дверью по коридору гостиницы размеренно и неторопливо ходил часовой. Это был немецкий часовой в немецком отныне Кольмаре. И Гудериан подумал, улыбнувшись, что сегодня имеет право спать спокойно и крепко, как спал в этом городе еще мальчишкой.

* * *

Возле шкафа с книгами – большое трюмо в оправе из темного дуба. Рукой искусного мастера пущены по полированному дереву виноградные лозы, висят среди листьев крупные конусообразные гроздья. В детстве Ольге нравилось трогать прохладные, гладкие выпуклости. А когда была совсем маленькая, боялась двух черепах, на которых стояло трюмо.

С годами исчез страх, исчезло удивление перед деревянным виноградом. Теперь, глядя на себя в зеркало, Ольга с улыбкой вспоминала об этом.

До встречи с Матвеем Горбушиным оставалось еще часа два. Ольга задернула занавески на окнах, закрыла дверь и сбросила халат, оставшись в лифе и трусах. Вытащив шпильки, она резко тряхнула головой: каштановые волосы рассыпались по плечам, закрыли ее до пояса.

Поправила пальцами брови. Они были такие густые и пушистые, что даже ей самой нравилось гладить их.

Ольга заплела косу, натянула на ноги шелковые чулки. Осторожно достала из гардероба лучшее платье: маркизетовое, в синюю и белую полоску, с прозрачными пуговицами. Эти пуговицы из пластмассы, похожие на леденцы, только входили в моду.

Повернувшись к зеркалу боком, через плечо осмотрела себя сзади. Платье плотно облегалось ее фигуру, особенно бедра. Баска подчеркивала, выделяла талию. Ольга подумала, что платья надо все-таки делать пошире.

Сорвав лист герани, она растерла его между ладонями. Духов у нее не было. Дорого, да и не любила их Ольга. Хорошо, когда от девушки пахнет цветами.

«Ну, вот и все», – подумала она, чувствуя, что ее снова охватывает сомнение и тревога. Хотелось еще заняться чем-нибудь, чтобы отогнать мысли, не дававшие покоя весь день. Но делать было попросту нечего. Не садиться же, одевшись к свиданию, за швейную машинку.

Опустившись в кресло и крепко сцепив пальцы, она думала: идти или не идти?

Горбушин пригласил ее прогуляться в лес, на Большой обрыв, полюбоваться заходом солнца. Ольга дала согласие, а теперь раскаивалась в этом. Она вспомнила, как крепко и даже грубо обнимал ее Матвей вчера в саду, и ей становилось жутко от мысли остаться наедине с ним в темном лесу. Было страшно, и в то же время ее влекло к этому страшному и неизвестному. Хотелось пройти по краю пропасти, испытать что-то необыкновенное, хоть на короткое время отвлечься от домашних хлопот, от однообразных будничных мыслей.

Ей было интересно с Горбушиным, приехавшим из далеких краев. Он повидал много городов, служил на разных морях, умел хорошо рассказывать. Слушая Матвея, девушка с горечью думала о том, как нелепо сложилась ее собственная судьба.

Несколько лет назад все казалось Ольге простым и доступным. В те счастливые годы семья Дьяконских жила в Москве, в просторной и удобной квартире на улице Горького. Много радости было у Ольги в то время. Она ходила на майские демонстрации, на открытие пер-

вой линии метрополитена, мама часто водила ее в театры. Всей семьей они ездили отдыхать в Крым. Там Ольга увидела женщину-моряка в белом кителе и белой фуражке. После этого она решила, что непременно станет штурманом дальнего плавания, будет водить по океанам корабли, побывает в самых далеких странах.

Правда, против морской профессии возражала мама. Она хотела видеть свою дочь дипломатом, нанимала учителей, занимавшихся с Ольгой немецким и английским языками. Но с мамой Ольга не очень считалась. Самое главное – отец был согласен. Это решало все. А знание языков могло пригодиться и штурману.

Ольга очень любила отца. По вечерам всегда сама открывала ему дверь. Наклонив седую голову, он целовал ее в щеку. От него пахло дорогим табаком.

Сбросив портупею и сняв гимнастерку, он шел умываться. Ольга держала полотенце.

– Докладывай, – коротко говорил отец.

– Все в порядке, товарищ комдив. Мама уехала в театр, ужин готов. Витька получил пятерку по географии.

– Где он?

– Сидит в твоём кабинете, читает какого-то немца.

– Тащи ужинать.

Ольга гордилась отцом, восхищалась его спокойствием и широтой кругозора. Не было такого вопроса, на который он не мог бы ответить. Он шутя решал трудные геометрические задачи и умел разжигать костер в лесу под проливным дождем, знал, в каких странах растет хлебное дерево и в каком году Жюль Верн написал «Дети капитана Гранта».

У отца была интересная жизнь. До революции он был офицером. Потом служил в Красной Армии, дрался с Колчаком, с белололяками. Он видел Чапаева и был знаком с Фрунзе. На Дальнем Востоке отец воевал с белокитайцами, в Средней Азии – с басмачами. На шее у него виднелся шрам от осколка. И, кроме того, он три раза был ранен пулями.

Теперь отец работал в Наркомате обороны и преподавал. По праздничным дням он надевал орден Красного Знамени. Этот орден лично вручил ему Фрунзе.

У Дьяконских собирались иногда товарищи отца, тоже все военные, командиры. Ольга вместе с мамой хлопотала на кухне, готовила закуски. Но гости ели мало, они все спорили о чем-то. Ольгу эти споры не интересовали. Зато Витька мог часами сидеть, забившись в угол дивана, и слушать разговоры старших.

Как-то, ложась спать после ухода гостей, Витька оказал сестре:

– Я согласен с папой. Теперь нельзя воевать так: вы к нам на танках, а мы к вам на санках!

– Что ты понимаешь? – фыркнула Ольга.

– Во всяком случае больше тебя, – обиделся он. – Это ты ничего не знаешь. Штурман в юбке, а сама пароход от самолета не отличишь.

Уже тогда, в девятом классе, Ольга знала, что она красива. Но она терпеть не могла ухаживаний, была резка с теми ребятами, у которых замечала повышенное внимание к себе. Если ей писали записки, она рвала их, не читая. Иногда видела, что мужчины на улице пристально разглядывают ее; ей становилось противно и обидно. Она жалела, что родилась девочкой.

Мечта Ольги должна была скоро осуществиться. Девушке оставалось только окончить школу и послать заявление в мореходное училище. Но все изменилось в один день, вернее, в одну ночь. Случилось это осенью 1937 года.

Вечером Ольга, лежа в постели, читала «Труженики моря» Гюго. Потом завела на семь часов будильник, поставила его у изголовья кровати и уснула. Среди ночи ее разбудили громкие незнакомые голоса, раздававшиеся в соседней комнате. Она подумала, что это опять приехали за отцом со службы – его часто вызывали неожиданно в наркомат. Спустила ноги с постели, включила свет. Вошла мама – бледная, растерянная.

– Что? – опросила Ольга. – За папой?

– Его... Его хотят арестовать. Там обыск.

Ольга вскрикнула и выбежала в соседнюю комнату.

Отец стоял у стены, оправляя на себе портупею. Он был спокоен, только лицо какое-то серое, неживое.

Поднявшись на носки, Ольга обхватила руками его шею, прижалась головой к груди.

– Это недоразумение, доченька, – говорил отец, глядя ее волосы. – Я вернусь, и вернусь очень скоро.

Потом он разжал ее руки, отстранил от себя, чуть подтолкнул и сказал сердито:

– Иди оденься.

Только спустя много дней, перебирая в памяти все, что произошло, Ольга поняла, почему отец отослал ее. Уже у двери, оглянувшись, она поймала на себе изучающий взгляд молодого смуглого военного. Он рассматривал ее с откровенным любопытством – ведь она выбежала в ночной рубашке.

Плача, Ольга оделась.

За час в квартире перерыли все вещи. Обыскивавшие забрали бумаги отца, его записные книжки и даже схемы боев, срисованные Витькой из военных учебников.

Уже в шинели, стоя между двумя конвоирами, едва доходившими ему до плеча, отец сказал:

– Что бы ни случилось, дети, вы всегда помните: ваш отец – честный коммунист. – Он улыбнулся и добавил поспешно: – Впрочем, это я так... Скоро вернусь. Берегите маму. Ну, до свиданья, ребятки, и чур – не вешать носов.

Витька все время, пока длился обыск, не отходил от отца. Прощаясь, отец трижды поцеловал его и крепко, как мужчина мужчине, пожал руку.

– Ты, пап, не беспокойся, – торопливо говорил Витя. – Мы тебе табак принесем... Мы ведь взрослые...

Отца увели. Ольга хотела проводить, но у двери ее задержал молодой военный.

– Нэльза, девишка, – улыбаясь, сказал он.

Ольга остановилась, а Виктор, рванувшись головой вперед, чуть не сбил военного с ног и вылетел в коридор.

– Дурак бэшанай! – выругался тот, погрозив кулаком.

Военный скоро ушел, а Виктор вернулся только на рассвете.

– Увезли в «черном вороне», – сообщил он. – В ту сторону, к центру... В нашем доме еще Журавкова арестовали.

Ольга и Наталья Алексеевна долго плакали, сидя на кровати. Усталые, разбитые горем, заснули только в полдень. Виктор не плакал. Он молча и деловито укладывал на место книги и вещи, прикреплял кнопками обои там, где их оборвали во время обыска.

Виктор держал себя в руках весь день. Слезы вырвались у него только вечером, в то время, когда обычно возвращался с работы отец. Виктор ушел в ванную и закрылся там...

Никто из бывших друзей не помог Наталье Алексеевне в ее хлопотах о судьбе мужа. Они боялись.

Ольга убеждала маму послать письмо самому Сталину. Ведь он даже не знает, наверное, что арестовывают хороших, честных людей, которые сами завоевывали советскую власть.

Но против письма неожиданно выступил Виктор, повзрослевший, посерьезневший в эти дни.

– Сталину все известно, – возразил он. – Сталину докладывают обо всем. Тем более, когда арестовывают командиров.

– Но ведь это же ужасно, если он знает!

– Ты не читаешь газет, мама, – сказал Виктор. – Враждебные государства засылают к нам врагов. Ну, свою «пятую колонну», как в Испании... Советский Союз ведет с ними борьбу...

– Это наш-то отец – пятая колонна! – всплеснула руками Наталья Алексеевна. – Что ты говоришь, опомнись!

– Я ничего не говорю. Наш папа честный человек. Его, конечно, арестовали по ошибке. Вот разберутся и выпустят. Простая логика.

Наталья Алексеевна с удивлением смотрела на сына. Сказала после долгого молчания:

– Вот какой ты...

– Какой?

– Незнакомый... Взрослый какой-то...

– Пятнадцать лет, не ребенок...

Ольга и Виктор не могли больше учиться в своей школе. Тяжело было ловить на себе любопытные или презрительные взгляды, слышать шепот за спиной. Их окружала настороженная пустота. Многие бывшие товарищи избегали встреч с ними. И Виктор и Ольга сделались замкнутыми, нелюдимыми. Целыми днями сидели дома.

Сбережений Дьяконские не имели, а устроиться на работу Наталье Алексеевне не удалось: по сути дела у нее не было никакой специальности. Семья жила впроголодь, продавая вещи.

А потом наступил страшный день: Наталье Алексеевне сообщили, что ее муж, Евгений Яковлевич Дьяконский, расстрелян, как враг народа. В этот день она сразу состарилась на десять лет и, не будь детей, с горя наложила бы на себя руки. Она равнодушно отнеслась к предписанию: в двадцать четыре часа выехать из Москвы. Ей было теперь все равно, где жить и как жить. Заботы о переезде взяла на себя Ольга.

В Одуеве Наталья Алексеевна пошла работать сестрой-хозяйкой в больницу. Ольга закончила десятый класс. О поступлении в мореходное училище теперь нечего было и думать. Девушка приучила себя здраво смотреть на вещи. Можно было попытаться поступить в педагогический институт. Она послала туда документы. Их возвратили: окончен набор. Отказали ей и на следующий год. Что оставалось делать? В маленьком городке Ольге трудно было найти работу, которая нравилась бы ей. Уехать, скрыть прошлое? Но девушка не хотела лгать.

Ольга старалась поменьше мечтать, поменьше думать о том большом и интересном мире, который оказался теперь недоступным для нее. Она научилась шить, брала заказы на дом. Заработок был неплохой, Ольга радовалась, что помогает маме, сильно сдавшей за последнее время. Быстро, на глазах детей, увяла красота Натальи Алексеевны, изменился характер. Она стала рассеянной, пугливой, всегда боялась чего-то.

Единственной надеждой Ольги и Натальи Алексеевны был теперь Виктор. Обе женщины понимали, что только он сможет бороться, восстановить честное имя их семьи, поставить их вровень со всеми.

Ольга все чаще думала о том, что время летит и ей пора уже выходить замуж. Не для того, чтобы свить уютное гнездышко и успокоиться навсегда в этом городке. Эту мысль она с негодованием гнала прочь. Девушка мечтала о сильном человеке с трудной и интересной жизнью. Она стала бы верным другом ему, делила бы с ним все невзгоды и радости. Но где его разыщешь такого?

За Ольгой неуклюже, по-мальчишески, ухаживал Игорь Булгаков. Девушке приятна была его чистая, романтическая влюбленность. Даже жить легче стало с тех пор, как появился этот юноша с вихром на макушке. Ольга все больше привыкала к нему, скучала и злилась, если он не приходил несколько дней. Робко, намеками, он говорил девушке, что если она подождет некоторое время, они всегда, будут вместе.

Молодость Игоря порой смущала и тяготила Ольгу. Дружили они почти целый год, но он ни разу не обнял, не поцеловал ее. Они гуляли по улицам или сидели в саду, держась за руки. Вероятно, Игорь и в помыслах не шел дальше этого. А Ольга возвращалась после этих свиданий возбужденная, с больной головой. Спала плохо и беспокойно.

Матвей Горбушин привлек ее внимание сразу, едва только появился в городе. Ольга была польщена – моряк выделил ее из числа других, начал ухаживать. На первое свидание она отправилась с одной мыслью: утереть нос местным девчонкам.

Красное обветренное лицо старшего лейтенанта и его грубоватые манеры не нравились Ольге. Но ее привлекали рассказы о море, о далеких солнечных краях, о веселых и смелых людях. Рядом с Горбушиным начинала верить, что еще не все потеряно, что может быть ей удастся осуществить свои мечты.

Об Игоре в эти дни думала редко. Если начинала тревожить совесть, она убеждала себя, что ничего плохого не делает. Разве она жена? Разве ей нельзя встречаться и разговаривать с интересным человеком? Если Игорь и поревнует – это неплохо. Крепче станет любить... Скоро Горбушин уедет, и все будет по-прежнему.

Сегодня, собираясь на свидание в лес, Ольга впервые колебалась. Стоит ли? Не слишком ли смело?

«Чего мне бояться? Если он начнет приставать, я уйду», – решила она.

Рывком встав с кресла, поправила прическу. Крупно написала на обрывке газеты: «Мама, вернись поздно, не жди. Окрошка в погребе. Нитки Пανε отнесла. О.»

Положив бумагу под вазу на столе, Ольга вышла на крыльцо, заперла дверь и сунула под порог ключ.

В гуще леса бежит, петляет тропинка. По узкому перешейку между двумя глухими оврагами выходит она на площадку, нависшую над крутым и глубоким обрывом. Внизу серебряными кольцами вьется в зеленом бархате луга река, блестят озерки, сохранившиеся с весеннего паводка. Дальше – поля и синий лес на горизонте.

Простор, открывающийся с площадки, так необъятен, что кажется, будто ты птица, парящая высоко в небе, над рекой, над лугами, над лесом.

– Взлететь можно? – серьезно спросила Ольга, когда они с Матвеем подошли к самому краю обрыва.

– С ума сошла. Не прыгай – наверняка разобьешься.

– Хочу, Матвей! Улететь хочу.

– А ну тебя! Выдумываешь глупости. – Горбушин опасливо заглянул ей в лицо, за руку потянул от края площадки. – Иди сюда.

– Не бойся, не поднимусь я. Силы у меня такой нет.

– Да что это с тобой, Оля?

– Ничего.

Она села на разостланную газету, борясь с тоской, нахлынувшей вдруг на нее. Лицо стало злым, отчужденным. Матвей терялся, не понимая, о чем она думает, не находя слов для разговора.

– Парашютисткой бы тебе стать, – промолвил он, улыбаясь. – Или планеристкой. В Крыму, в Коктебеле девушки на планерах с высоких гор летают.

Ольга не ответила. Сидела покачиваясь, охватив руками колени, смотрела вдаль. Солнце уже скрылось, лучи его, вырываясь из-за горизонта, окрашивали облака в мягкие розовые, желтые и сиреневые полутона.

Ветер нес теплый запах цветов. Рядом где-то беспрерывно и печально пиликал кузнечик, провожая угасающий день.

– Что же ты молчишь? – вскинула голову Ольга.

– Просто не знаю, о чем говорить.

– Не все ли равно... Ну, скажи, какие тебе девушки нравятся, смуглые или светлые?

– Мне ты нравишься.

– Ой ли?

– Все смеешься?

- Наоборот. Я сегодня серьезна, как никогда.
- Огорчил тебя кто-нибудь?
- Нет, – грустно сказала она. – И не нужно об этом. Пора нам, Матвей, обратно.
- Успеем еще.

Он набросил на нее китель, обнял левой рукой. Прижимая ее голову к своему плечу, спросил:

- Хочешь уснуть вот так?
- Так тепло, – отозвалась она.

Объятие Горбушина было таким сильным, что Ольгу снова охватил страх: она чувствовала, что не сможет сопротивляться. И, странно, – ей совсем не было стыдно, хотя Матвей гладил ее ноги, колени. Она хотела сказать: «Не надо», но сидеть ей было уютно и лень было произносить что-нибудь.

Горбушин вдруг отодвинулся, шумно потянул носом воздух.

- Что? – встrepенулась девушка.
- Подожди. – Матвей сделал несколько шагов, наклонился и пошарил рукой под кустом. – Ага, есть, – удовлетворенно сказал он, сядя рядом. – Вот цветок интересный. Днем хоть и цветет, а не пахнет. Будто стыдится. Зато ночью какой запах, а? Голова кружится!

- Фиалка?
- Белая фиалка, ночная красавица.
- Зрение у тебя хорошее...
- Я сперва запах услышал... Жаль только с корнем сорвал, может, на этом месте еще бы вырос. Знаешь, как грибы растут?
- Может быть.
- А ну, дай я его тебе на грудь приколю.
- Сама.
- Не мешай. Я лучше сумею.
- Пусти, Матвей.
- Не пущу, – отстранил он руки Ольги, стиснул их крепко, до боли.

Совсем рядом она увидела его глаза, хотела крикнуть, но подумала с удивительным равнодушием, что это бесполезно, что в пустом лесу все равно никто не услышит ее.

В девять часов ребята встретились на краю оврага. Игорь пришел последним. Сашка Фокин сидел на камне и снимал ботинки. Рядом лежала труба, надраенная тертым кирпичом.

– Ты погляди, Игорь, кто есть этот человек? – возмущенно оказал Дьяконский. – Это типичный мещанин. Он идет в лес на массовку. Он собрался отдыхать, валяться на траве. Для этого ему обязательно нужно явиться в пиджаке и при галстукe.

- Снять! – весело закричал Игорь. – Бей мещанина!
- Караул! – вопил Сашка, прыгая на одной ноге. – Караул! Раздевают!

Галстук очутился у Игоря. Фокин, красный, растрепанный, снова сел на камень, оказал, отдуваясь:

- Черти! Артиста ограбили. Как я перед публикой покажусь?
- Нужен публике галстук твой, как рыбе зонтик... Ну, айда. Хватит копаться.

Ребята перебрались через овраг на тропинку. Приятно было шлепать босиком по теплой, мягкой пыли. Вычищенные ботинки несли в руках.

По отцветающему ржаному полю перекатывались под легким ветерком изумрудные волны. Когда добежала волна до тропинки, усаые колоски с шорохом пригибались к земле, кланялись проходившим мимо ребятам.

- Эй, смотрите! – воскликнул Сашка, указывая рукой.

С пригорка видна была дорога. По ней, поднимая пыль, двигалось несколько автомашин, шли люди.

- Весь город в лес подался! Эх, и погуляем сегодня!
- Трубу не прогулай, – серьезно предупредил Виктор.
- Это нет. Боюсь только, как бы до дыр не продуть.

* * *

В лесу было много народу. На опушке, натянув между деревьями сетки, и арии играли в волейбол.

На поляне танцевали под оркестр. Музыканты сидели в кузове автомашины. Фокин присоединился к ним.

- Настя, кажется, обещала прийти? – спросил Виктор. – Что-то не видно ее.
- Она в лагере, к трем часам собиралась, – ответил Игорь.

Было жарко. Забравшись в гущу орешника, ребята прилегли на траву. В лесу слышались смех, крики.

Там на шахте угольной паренька приметили,
Руку дружбы подали, повели в забой, —

выводили молодые голоса. С другой стороны, за кустами, хрипло и вразнобой пела подвыпившая компания, резал слух надрывный бабий визг:

А поутру они проснулись —
Кругом помятая трава-а-а.
Ах, не одна трава помята,
Помята девичья краса...

- Вот так и переплетается все в жизни, – сказал Виктор, глядя в небо.
 - Что переплетается?
 - И старое и новое.
 - Ты, что же, против старых песен?
 - И среди старых есть хорошие. Очень хорошие. Я о другом говорю. Сложно все в жизни, запутанно...
 - Разберись, – лениво сказал Игорь.
 - Трудно.
 - Давай я помогу.
 - Ладно, помоги, – усмехнулся Виктор, потирая подбородок. – Фашизм – злейший наш враг, верно?
 - Ну, верно. – Игорь не удивился вопросу. С Виктором всегда так – не угадаешь, что у него в голове.
 - Вот. А мы с этим злейшим врагом договор заключили.
 - Потому и живем спокойно. Пусть Гитлер с англичанами цапается, наше дело сторона...
- А вообще-то и мне странно, – признался Игорь. – Только это не нашего ума дело. Нечего нам выше головы прыгать.
- А я прыгаю?
 - Пытаешься иногда. А в таком спорте запросто синяки набить можно.
 - Я ведь только при тебе да при Сашке.
 - При нас пожалуйста. – Игорь повернулся, положил под голову руку. – Что-то на сон меня потянуло. Вздремнем?
- Виктор не успел ответить.

– Эге-гей! – раздался неподалеку голос Сашки.

Веселый, потный, с трубой под мышкой, он медведем вылез из кустов.

– Вот вы где, братцы! А я пошабашил. Прогнали с машины.

– Доигрался?

– Отыгрался. Перерыв. А у вас еще ничего не готово? Казначей – деньги на бочку! Пошли за шамовкой. Пиво кончилось. Придется четвертинку взять, как вы?

Дьяконский пожал плечами.

– Бери, – согласился Игорь, – только лимонад не забудь.

– Ладно. Так я за горючим! Витька, марш за бутербродами!

Ребята ушли. Игорь облюбовал подходящее местечко в молодом березняке, пронизанном солнечными лучами. В густой траве росло много синих воздушных колокольчиков. Даже жалко было мять их. Развернув газету, Игорь положил по углам комья земли. Достал из сетки три стакана. Принялся резать перочинным ножом хлеб.

– Эй, Геродот!

Игорь обернулся. Через полянку, покачиваясь, шел Пашка Ракохруст. На нем щегольской, стального цвета костюм. Кремовая шелковая рубашка распахнута на груди.

– Привет однокашникам! Ты что, постель готовишь?

– Здравствуй, – холодно ответил Игорь.

Появление Ракохруста не обрадовало его. Пашка прилипчивый, не отвяжешься.

– Поздно, дорогуша, стелить взялся!

От Ракохруста несло водкой, глаза у него были мутные. Раскачиваясь на носках, он сверху вниз смотрел на Булгакова.

– Не опоздаю, мне не к спеху, – буркнул Игорь.

– Ха, не к спеху! Ты у нас всегда был этим самым... Идеалистом. Хочешь, новость скажу?

– Валяй.

– Обьездчика. Лукича знаешь? Мы с ним сейчас по двести трахнули. Он мужик хороший. Утром он сюда в лес ехал из города. На лошади. Самый рассвет. Видит – женщина навстречу. Заметила его и – шарах в рожь. Он туда. А там Дьяконская. Ну, Ольга твоя. Лицо белое. Лукич спрашивает: «Что делаете здесь?» – «Гуляю», – отвечает. «По дороге гуляют, а не в посевах». – «Хорошо...» Пошла от Лукича, да все боком к нему норовит. А подол весь мятый, вроде изжеванный...

Игорь молчал, стараясь не выдать волнения. Не мигая смотрел он в слезящиеся от смеха глаза Ракохруста.

– Лукич, значит, в лес, а тут, на опушке, еще один голубчик – моряк. Идет, веточкой помахивает. Довольный. Еще бы – такой кусок отхватил!

– Ты... Ты меньше языком трепи, – выдавил Игорь, – Сплетничаешь, как баба.

– Мое дело маленькое, за что купил, за то и продаю... А Ольга-то, а? Тихоня была, недо трога. Ты ее под ручку водил. Думала – с приезжим шито-крыто, никто не узнает. Шлюха московская!

У Игоря потемнело в глазах, не смог сдержаться: сунул кулаком в оскаленные зубы Пашки, головой ударил в подбородок. Пашка упал навзничь, из носа потекла кровь. Игорь ногами бил в грудь и в живот.

Изловчившись, Ракохруст схватил за ногу, дернул, Игорь свалился на него. Сцепившись, покатались по земле, тыча друг друга кулаками, коленями.

– Сволочь! – хрипел Пашка, обдавая запахом водки и лука. – Сволочь, убью!

Пашка был сильнее. Если бы не подоспели ребята, Булгакову досталось бы крепко. Фокин, оттолкнув Игоря, верхом уселся на Ракохруста. Тот, матерясь, попытался подняться, но Фокин, прижав его голову, крикнул:

– Цыц, не вертись!

Вокруг уже толпились любопытные. Виктор, обняв за плечи дрожащего от возбуждения Игоря, силой увлек его в кусты, подальше от людей. Сашка догнал их.

Остановились возле ручья на дне овражка. Булгаков наклонился, смывая с лица кровь.

– Ну, петухи! – удивлялся Виктор. – Вот не ждал от тебя.

– Мало я ему, мало! – твердил Игорь.

– Хватит, – уверенно заявил Сашка. – Я в этом деле толк знаю. Хряпку ты ему своротил. Глаз припух. Неделю в синяках ходить будет.

– Из-за чего сцепились-то вы?

– Подлец он! Ну и подлец!..

– Это известно. А ты что же, всех подлецов решил бить теперь? – улыбнулся Виктор. – Их много на свете, кулаков не хватит.

– Эх, ничего ты не знаешь, – зло сказал Игорь. – Водки мне дайте.

– Стаканы там остались.

– Из горлышка.

Игорь сделал большой глоток, закашлялся. Долго плевался, запивая водой из ручья.

– Ребята, домой бы мне, – успокоившись, попросил он.

– Ну вот, – расстроился Сашка, – Весь праздник к чертям пошел.

– Домой, – поддержал Виктор. – Ну, куда он такой? Рубашка разорвана, на щеке ссадина... Я провожу.

– Мне нельзя, – вздохнул Сашка. – Играть надо.

* * *

Дед Игоря, брандмейстер пожарной команды Протасов, был человеком незаурядным. Могучий, костистый, до последних дней жизни сохранивший гордую осанку, он отличался независимым и строгим характером. В пожарной части у него порядок был жесткий, крепче, чем на военной службе.

Под старость выстроил он себе просторный, с семи комнатах, шелеванный дом под железной крышей, а к дому – сарай для дров, потребицу с сеновалом, амбар. И все это добротное, на века.

От пожарных дел отошел Протасов только после революции и прожил без работы недолго. Хоронил его весь город, старого брандмейстера знали в каждой семье.

Дочери к тому времени разъехались уже по разным местам, повыходили замуж. Марфа Ивановна осталась с младшей – Антониной.

Время шло незаметно. Тоня училась, летом пасла корову на выгоне, играла в лапту – и вдруг как-то сразу в один год превратилась из девчонки в девушку. Перестала носиться, как угорелая, отпустила косы. Пришлось Марфе Ивановне вытаскивать из сундука старые свои платья.

Работать Антонина начала в школе, сперва вожатой, потом преподавала в младших классах. Не успела медлительная Марфа Ивановна и глазом моргнуть, нашелся жених: Григорий Булгаков из деревни Стоялово. В гражданскую войну на врангелевском фронте потерял Булгаков два пальца левой руки, долго служил в армии младшим командиром. После демобилизации направили его в Одуевский уком комсомола.

Был Григорий Дмитриевич лет на десять старше Антонины, но выглядел молодо. Человек спокойный, уравновешенный, здоровьем по-мужички крепок.

Зятя Марфа Ивановна встретила с радостью: какое без мужчины хозяйство? Не понравилось только, что не по-старинному, не в церкви обвенчались молодые, а по новым порядкам. Принес Булгаков свои вещички, собрались вечером сослуживцы – вот и вся свадьба.

Григорий Дмитриевич подправил заборы, заново перекрыл дранкой амбар, переложил печку. В огороде поставил конуры, завел гончих собак. Времени ему хватало. Теперь он преподавал обществоведение в культпросветшколе и почти все лето был свободен.

Антонина, хоть и появились у нее дети, поступила заочно в педагогический институт. Занималась за полночь, пока не выгорал керосин в лампе. А утром, ни свет, ни заря – в школу.

Наконец Антонина получила диплом. Марфа Ивановна нарадоваться не могла на свою семью. Жили дружно. Хорошие подросли внуки. Только за Игоря болело ее сердце. Хоть и тих был с виду, а угадывала в нем бабка рискованный дедов характер.

...С массовки вернулся Игорь в порванной рубашке, с синяком <на щеке. От него пахло водкой.

– Пропись! – приказал отец. – Потом поговорим.

Горожане, возвратившиеся из леса, принесли грязный слухок, который быстро пополз из дома в дом, щекоча нервы обывателей. Вечером женщины на завалинках и в палисадниках только и судачили, что об Ольге Дьяконской да об Игоре. О случившемся говорили все, кроме самих участников происшествия.

Матвей Горбушин прикидывал: стоит ли идти сегодня к Ольге? Неловко ему было сейчас встречаться с Натальей Алексеевной. Она уже знает, наверное, обо всем, как бы не устроила скандал под горячую руку...

У Ольги раскаяние сменялось надеждой. Она старалась убедить себя, что Матвей увезет ее на Дальний Восток. Но если он оставит, ее тут? Как она будет смотреть людям в глаза? И вдруг окажется, что у нее ребенок? Что тогда делать?... Нервы ее были настолько взвинчены, что она даже не легла спать после бессонной ночи. Растерянная, разбитая физически, она сидела за машинкой, пытаясь работой заглушить горькие мысли.

Мать плакала, закрывшись в своей комнате, ругала себя за то, что не уберегла Ольгу. Случись такое с другой девушкой, об этом посудачили бы неделю и забыли. А Дьяконские всегда вызвали особое любопытство. О том, что произошло с Ольгой, будут теперь помнить долго...

* * *

Свои переживания были и у Ракохруста. Протрезвившийся к вечеру, Пашка жалел, что всем встречным и поперечным рассказывал о Дьяконской. Боялся прослыть среди ребят трепачом. На Игоря Булгакова затаил злобу и решил рано или поздно отомстить этому желторотому птенцу.

Игорь после сна чувствовал себя мерзко. Его тошнило, мучила изжога. Предстоял тяжелый разговор с матерью и отцом. Но самое главное, самое страшное – Ольга теперь была потеряна навсегда.

И еще один человек страдал в этот вечер. В маленькой комнате, в Стрелецкой слободе, лежа на кровати, тихо плакала Настя Коноплева. Она пришла в лес пешком издалека, из пионерского лагеря, надеясь увидеть Игоря. В лесу она узнала о драке. Насте было очень обидно и за Игоря и за себя.

Вечером, после чая, Славку и Людмилку сразу отправили спать. В столовой закрыли окна. Игоря выпроводили за дверь.

Бабка, сгорбившись, сидела возле остывшего самовара. Суровым полотенцем, переброшенным через плечо, перетирала посуду. Григорий Дмитриевич, кряжистый, плотный, с красной короткой шеей, стоял у печки, прислонившись шиной к белым изразцам, набивал табаком трубку. Ворот гимнастерки расстегнут – по старой привычке носил он военную форму. На лице и на гладко выбритой голове выступили капельки пота.

Антонина Николаевна резко отодвинула стул, встала.

– Вот вырастили оболтуса... Весь город о его подвиге говорит.

– Неприятно, что инцидент произошел из-за Дьяконской, – отозвался Григорий Дмитриевич.

– Ну, это как раз несущественно. Думаю, никому в голову не придет искать в драке политические мотивы.

– Бее может быть, Тоня... Впрочем, драка – это естественная вещь. – Григорий Дмитриевич затаился, в трубке затрещало, захлюпало. – Все мы в молодости немножко петухи... Издержки возраста, да.

Антонина Николаевна неопределенно хмыкнула, спросила:

– Ты собираешься его защищать?

– Нет. Мальчишка был пьян.

– Так уж и пьян, – обронила Марфа Ивановна.

– От него пахло водкой, этого достаточно. Беспрецедентный случай. – Григорий Дмитриевич любил употреблять мудреные словечки, угнетающе действовавшие на Марфу Ивановну. – У мальчишки экзамены на носу, а он амурничает, целыми днями курсирует неизвестно где.

– Учит... Я ведь вижу.

– Мама, не оправдывай, – вмешалась Антонина Николаевна.

– Да я молчу... Только учит он.

– Надо, Тоня, принять решительные меры. И прежде всего – изолировать его от теперешней обстановки.

– Что ты предлагаешь?

– Отправить в Стоялово, к Ивану.

– Да, маленькие детки – маленькие бедки, а большие детки – большие бедки! – вздохнула бабка. – Давно ли было – крапивой пригрозил Игорю – и ладно все!

– Не грозить, стегать его надо!

– Теперь поздно – за девками бегает, – улыбнулся размякший после чая Григорий Дмитриевич, – крапива не поможет.

– У тебя игривое настроение?! Не понимаю, – возмущенно пожала плечами Антонина Николаевна.

– Что же теперь – слезы лить? Перемелется – мука будет. А ты не возмущайся, Тоня. Дело обговорили, все ясно.

– Звать его, что ли? – заторопилась бабка, радуясь, что разговор кончается мирно.

Игорь вошел в комнату медленно. Остановился в темном углу. Антонина Николаевна надела пенсне. Отец старательно хлюпал трубкой, раскуривая.

– Игорь, – толос матери сух и строг. – Ты понимаешь, что ты сделал?

– Угу. Подрался.

– Боже мой, и ты так спокойно говоришь об этом. – Ведь ты не мальчик, взрослый человек. Отец, слышишь?

– Слышу... Пьяный был?

– Нет, папа. Я уже лотом выпил.

– Все равно. Это плохо.

– Я знаю.

– Ну, а Пашке-то здорово досталось?

– Порядочно, – улыбнулся Игорь.

– Отец, о чем ты говоришь! – возмутилась Антонина Николаевна. – Мама, ты только послушай: они обсуждают, кому больше досталось. Да вы понимаете, с какими глазами я завтра на улицу выйду? Я воспитываю детей в советской школе. А мой собственный сын дерется из-за девчонки, пьет водку, идет через весь город в синяках...

– Но ведь это же я, а не ты, – возразил Игорь. – Я и в ответе.

– Молчи, негодяй! Вот уж не думала, что у меня растет такой эгоист!

Игорь низко опустил голову. Ругань – не деловой разговор, тут не ответишь.

– Ну, вот что, – произнес Григорий Дмитриевич. – Завтра ты едешь к дяде Ивану. Будешь жить там до экзаменов.

– К дяде Ивану? Но как же...

– Все. Без возражений. Возьмешь с собой учебники. Хватит баклуши бить. А теперь отправляйся спать.

Игорь шагнул к двери, но мать остановила его.

– Ты обещаешь, что это не повторится?

– Постараюсь.

Выбравшись из комнаты, Игорь облегченно вздохнул. Будто гора с плеч. Разговор оказался не очень страшным. Ехать к дяде Ивану – не так уж плохо. Надо же в конце концов и позаниматься.

Он вышел во двор. Ночь была прохладной и звездной. В тишине слышалась далекая песня: наверно, в роще за слободой гуляли девчата. Недовольно бормотали что-то сонные грачи в гнезде на верхушке березы.

– В ссылку, значит, – оказал себе Игорь. – В Сибирь, на каторгу... Ну, это ничего, могло быть и хуже. Надо только ребят предупредить, чтобы проведать пришли.

* * *

Между лесом и деревней протянулся по косогору колхозный сад. Длинными шеренгами стоят яблоньки на белых от извести ногах. В верхней части сада, что ближе к лесу, – ряды аккуратно подстриженных кустов крыжовника. Среди кустов шалаш сторожа, деда Сидора. Старик въедливый, ко всем цепляется, всех поправляет, и за это кличут его по-уличному Крючком. Прозвище это прилипло к деду давно, никто не помнит его настоящую фамилию. Известна она только в сельском Совете.

В саду дед Крючок обосновался прочно, перетащил в шалаш дерюгу для подстилки, тулуп, медный котелок. Держа под мышкой старую берданку, заряженную солью, несколько раз в сутки обходил свои владения. Мальчишки боялись его – дед стрелял, не предупреждая.

Днем старик поправлял чучела, смотрел, не завелась ли вредная гусеница. Вечером рано ложился спать. До полуночи сад стерег Иван Булгаков. У него маленький шалаш в том конце яблоневых посадок, который почти вплотную примыкает к деревне.

Прожив в Стоялове двое суток, Игорь пошел на дежурство с дядей Ив алом. Прихватили с собой чайник. Пока Игорь бегал к ручью за водой, дядя Иван развел костер, воткнул в землю палки-рогульки.

Пасмурный, сырой день угасал, медленно наплзали сумерки, суживая горизонт. Воздух был теплым и влажным от прошедшего недавно дождя. В низине над рекой белым дымком вился туман.

Вся деревня хорошо видна с косогора: два ряда изб, крытых соломой, новый белый сруб правления колхоза. За околицей, возле реки, просторный выгон. Деревня казалась пустой и унылой. Изредка перейдет улицу баба с коромыслом. Трое ребятшек в длинных рубахах копошились у плетня. Щипали траву стреноженные лошади. Игорю скучно было смотреть на затихшую деревню, тянуло в Одуев, к людям.

Хорошо побывать в Стоялове раз в году, когда ясная погода. Походить за грибами, поваляться на лугу. А ведь многие проводят в деревне всю жизнь. И сколько таких – большинство! Они выращивают хлеб, везут в город молоко, мясо. Эти люди необходимы всем, они – основа основ.

– Чего задумался, Игорек? – окликнул дядя Иван.

– Так... Смотрю на деревню, и грустно становится... Ведь тут моя родина. В этих избах прадеды мои жили. Отец, когда молодой был, эту землю пахал. И ты вот... А я будто чужой здесь.

– Отвык, – улыбнулся дядя Иван. – Вот поживешь месяц и уезжать не схочешь... А летом в деревне завсегда веселья мало. Люди с солнцем встают, весь день на работе. Наломаются – и спать. По гостям зимой ходим.

Закипел чайник. Бурлящая вода вырвалась из носика, полилась на костер. Дядя Иван подхватил чайник за ручку, поставил на землю.

– Посмотри, чего Алена в узелок нам положила... Хлеб, сало... Яички есть... Ну, не помрем, парень.

Круто посолив мягкую, еще теплую горбушку, Игорь взял яйцо.

– Забыл про сахар-то я, – огорченно оказал дядя Иван. – Ведь ты же непривычный с нетом чай пить.

– С солью вкусно.

– Это кому как. Вон дед Крючок у нас балованный. Старуха его наемни жаловалась в сельпо – все деньги на сахар изводит. Я, говорит, целные сутки в одиночестве. Хожу по саду и думаю про разные дела. А думаю чем? Умом. У меня, говорит, от этих размышлений мозг сохнет, и его надо чаем с сахаром разжижать.

– А ты, дядя Иван, тоже сутки дежуришь?

– Я – нет, сторожу между делом. Днем в бригаде – вечером сюда. По хозяйству Алена справляется, а я тут и а курорте вроде.

– Хорош курорт, по пять часов на сон остается. То-то похудел ты так против зимы.

– Летом мужик всегда худеет... А за этот курорт мне колхоз полтрудодня начисляет. Дело немаленькое. Сам знаешь, трое воробьев у меня. К зиме на обуж и заработать надо... Ну, и колхозу опять же польза.

– А ты почему без ружья, дядя Иван? Сторож ведь.

– Меня и без ружья бояться, – засмеялся тот. – Я с финской ракетницу принес. Сказал парням: как увижу – ракетой стрелять буду. Это не соль. Одежду спалю и мясо до костей прожгу. Теперь во всех соседних деревнях про эту ракетницу знают.

– А я и не видел! Где она?

– У Алены спроси. Где-то в сундуке у нее валяется.

Было уже совсем темно. Дядя Иван бросил в костер бумажки, яичную скорлупу. Поднялся.

– Так порыбалим утром?

– Ты ведь на работу пойдешь...

– До обеда посплю. Косить не придется, дождь будет... – Он вынес из шалаша фонарь «летучая мышь», вытащил закопченные стекла, начал протирать их. Казалось, они, того и гляди, хрустнут в его больших грубых руках.

Игорь смотрел молча. За эти дни он понял, что дядя Иван совсем не такой, каким представлялся ему раньше. В прошлые годы, когда Игорь изредка приезжал в Стоялово вместе с отцом, он почти не видел дядю, занятого работой. Дядя Иван, бывая в Одуеве на базаре, заходил в гости вместе с женой. И тетя Алена и он чувствовали себя неловко в городском доме, за столом сидели чинно, держа на коленях руки. Ели мало, благодарили за угощение, говорили, что сыты. От сапог дяди Ивана всегда пахло дегтем. Пиджак был узковат в плечах и угрожающе потрескивал – вот-вот лопнет по швам.

Чаще всего дядя Иван забежал ненадолго, на полчаса, оставив лошадь у ворот. Отдавал Марфе Ивановне убитого зайца или связку рыбы, брал у Григория Дмитриевича порох, дробь и тотчас уезжал.

Баба и дядя Иван уважали друг друга. Для гостя у Марфы Ивановны всегда находилась на кухне стопка водки и соленые огурцы. Когда появлялась строгая, с неизменным пенсне на носу Антонина Николаевна, Иван терялся, становился мешковатым и неуклюжим.

Григорий Дмитриевич очень любил своего младшего брата и хотел пристроить его куда-нибудь в городе. И отец, и баба считали, что Иван неудачник и ему надо помочь выбиться в люди. А сам дядя Иван, наверное, никогда и не думал об этом. Вот он стоит боком к Игорю, в старенькой, без пояса, гимнастерке. Солдатские брюки заправлены в шерстяные носки, на ногах – галоши. Распахнутый ворот открывает грудь, заросшую черным волосом. Чуть склонив давно не стриженную голову, он сосредоточенно протирает тряпкой стекла фонаря.

Дяде Ивану тридцать пять лет. Выглядит он старше. Наверно, потому, что на лице у него много морщин и щеки всегда покрыты щетиной. Бреется дядя Иван редко.

– Механизма готова, – сказал он, ставя на землю «летучую мышь». – Фонарь-то старый. Еще дед твой из Москвы привез. Сено продавать ездил. Себе фонарь, а нам, ребятишкам, – пряников.

Он свернул самокрутку, пальцами достал из костра уголек, подкидывая его на ладони, прикурил. Лег рядом с Игорем.

– Ноги гудят. Намотался за день.

– Ты поспи, а я подежурю.

– Нельзя, служба.

– Никто не полезет. Яблоки маленькие еще.

– Все равно нельзя. Раз пост доверили, то хоть для порядка, а бодрствуй.

Огонек самокрутки освещал при затяжках обветренные, сухие губы дяди Ивана, впалые щеки. Глаза были полужакрыты.

– Ты счастливый, а? – негромко спросил Игорь.

– Как это счастливый?

– Ну так. Жизнью своей доволен?

– Чего же мне недовольным быть?

– Работаете ведь много.

– Ежели работа по душе, так от нее одна радость. Для себя же работаю. А еще, парень, хорошо, когда у человека сердце спокойное.

– У тебя спокойное?

– Сам видишь. Сажу тут с тобой, ласы точу. И никакая думка не грызет. Потому – тыл у меня крепкий. Знаю, что воробы мои накормлены, нахолены, в огороде порядок, корова, куры – все хозяйство под верным глазом. Баба у меня золотая.

– Любишь, да?

Дядя Иван затаился раз, другой. Лицо его подобрело.

– Не по-нашему, по-городскому вопрос задаешь. Любит парень девку, пока за ней каблуки сбивает. А я к Алене прирос. Вроде бы мы с ней – один человек. Не будет ее – половины меня не будет. А может, и больше. Ты мал еще, не понимаешь этого.

– Почему же...

– Головой не поймешь. Самому пережить надо. Я до се удивляюсь, как это мне такая удача подвалила. Верно говорят: выбирай жену не в хороводе, а в огороде.

– А ты как выбирал?

– Это долгая история.

– Спешить некуда нам... Ты когда женился?

– Женился-то? – Дядя Иван молча пошевелил губами, загибая пальцы. – Десять годов скоро. Как раз колхоз создавали.

– В самое бурное время?

– Не знаю, где как, а у нас в деревне не бурно было. У нас это дело быстро провернули. Тут, парень, что ни деревня, то почти одна родня. В Стоялове, почитай, половина Булгаковых. Мы и раньше всем миром жили. Придет жатва – Петр Сидору помогает, Агафон – Илье. Ну, были и крепкие мужики, которым жаль скотиняку да машины в общий котел валить. Два двора у нас таких было. Один хозяин в город подался, а другого под конвоем в Сибирь. У нас общество без волынки в колхоз пошло. Вот в Дубках – там упирались. Село торговое, мужички крепко жили. А нам нечего терять было. Да и то оказать, многие же из наших за советскую власть кровь пролили, так что же поперек этой власти идти.

– А ты?

– Я обыкновенно. Отец наш в двадцать седьмом преставился, Григорий в городе жил. Я один на хозяйстве. Сам и корову доил, и пахал, и ухватами ворочал. Парень я был из себя не больно видный, девки не заглядывались. Три года один бедствовал. Хотел в город податься – землю бросать жалко... Тут, помню, в тридцатом году приезжает Григорий. Говорит по секрету: через неделю ждите уполномоченного – колхоз создавать. Так ты, Иван, первым иди... Ну, оно и понятно. Брат в районе начальник, сам уполномоченным ездит. Нельзя его подводить. Так и вступил.

– А женился после?

– Тогда и женился. Поехал в Дубки на мельницу, хлеб повез. Поехал один, а вернулся с женой.

– Ну!

– Вот те и ну! Народу на мельнице полно. Стою в очереди день, второй, третий. Дело идет ни шатко, ни валко... Там и Алену встретил.

– Она из Дубков?

– Из дальней деревни. Тоже молоть приехала. Со стариком. Тот, сивобородый, только под телегой сидел да всякие слухи про советскую власть пускал... Алена тогда махонькая была, годовков шестнадцать. Ноги тонкие, сама вся, как травинка... А мешки пуда по четыре, не меньше. Она, бедная, согнется под таким мешком, идет, шатается, того гляди пополам хрустнет. А старик, черт, только покрикивает... Ну, меня зло разобрало. «Ты, говорю, хрыч бородатый, не видишь, что девка живот надрывает? Ты, говорю, иксплутатор, и тебе за это морду набить надо». А он орет: «Моя дочь, как хочу, так и верчу!» И на меня по-всякому. Я плюнул, оттолкнул Аленку от воза и сам все мешки перетаскал.

– А старик?

– Чего ему – дармовая сила. Ухмылялся под возом – дурак, мол, нашелся... Ну, потом Аленка ко мне подошла. Кусок пирога сунула. Поешь, дескать. Я ее отвел подальше, за мельницу. Поговорили, никакая она этому старику не дочь оказалась. Батрачкой жила. «Родители, – спрашиваю, – где?» – «Померли тятка с маманей». – «Одна?» – «Совсем одна», – и вот-вот заплачет... Так мне, парень, горько за нее стало. Запряг я коня, посадил ее на мешки с рожью и той же ночью – домой.

– А потом?

– Потом, как все. Сходили к попу, справили свадьбу. Сперва девки стояловские смеялись: нашел, дескать, тощую да бездомную. С обиды смеялись, что свою не взял. А к двадцати годам выгулялась моя Алена в такую красавицу, что самому чудно. Тут голодное время, от работы горб трещит, а ей и горюшка мало. Сухую корку съест с квасом – и сыта. Веселая, песни поет. И я веселым домой аду, знаю, что всегда лаской встретит. Хмурый – слова поперек не скажет. Сгоряча обругаю – молчит. Видит, поостыл я – улыбнется, и вся хмарь с меня долой. Даже сказать нельзя, до чего я привык к ней. Заболела она после вторых родов. Опасно заболела. Григорий приехал на машине, увез в больницу. Алена без сознания была. Проводил я, зашел в хату и, понимаешь, чуть не закричал. Будто все нутро из меня вынули. Два стакана самогонки хватил – спать потянуло. Подошел к кровати, завеску отдернул – и опять нож по

сердцу. Пусто... Ну, не выдержал я. Отнес маленьких к соседям, харчи в узелок – и в город. Четыре дня вокруг больницы шальной ходил, пока ее в окне не увидел. Случись бы что с ней тогда – и мне не жить. Вот какие дела, парень.

– Я, дядя Вань, помню, как тетя Лена болела.

– И я, брат, на всю жизнь помнить буду. Потом я ее месяца два до работы не допускал. Да разве ее устережешь, – дядя Иван засмеялся. – Пришел с поля – изба побелена. Ну, и корова опять же, и ребятишки...

Игорь пытался представить себе тетю Лену. Самая обыкновенная деревенская женщина в пестром платочке, с усталым лицом. Сколько таких приезжает каждое воскресенье на базар! Игорь не мог даже припомнить, какие у нее глаза. Помнит только руки: темные, сильные. Эти руки легко вытаскивают рогачом из печи огромный чугунок с водой, подхватывают его, ставят на пол... Ходит тетя Лена быстро и как-то боком. Только что вытащила чугунок, и вот уже несет с огорода лук, чистит картошку и в то же время покачивает ногой люльку, подвешенную к потолку. Она всегда занята делом. Даже когда Игорь и дядя Иван садятся за стол, тетя Лена продолжает хлопотать у печки.

– Не спишь, Игорь? – спросил дядя Иван, сворачивая новую папироску.

– Нет, слушаю.

– Растрожил ты меня. Вот привыкнешь к своей жизни и не замечаешь хорошего. Будто так и надо. Я как с финской пришел, так и не думал вроде об Алене своей. Ну, как о себе не думает человек. За делами недосуг.

– А на войне скучал?

– Не то чтобы скучал, а помнил все время. Как работаю сейчас спокойно, так и воевал спокойно... Я давно заметил: ежели одинокий человек или в семье непорядок – такому на фронте мутно. И гибнут такие чаще. Был у нас в роте мой земляк, кузнец Терентий. С одного года мы. Жена ему попалась холявистая, с ветерком. Он и тут все из-за нее терзался, боялся, как бы не скрутилась с кем. А на фронте совсем закип. Мажет, и причин у него для ревности не было, а мучился человек. Больно уж ненадежная баба. Ребята над ним подшучивают, а тут еще и писем недели две нету. Озверел мужик. Заладил одно: почтарь «кукушек» боится, не идет на передовую. А оно и верно. Финны к нам в тыл часто просачивались. Засядут на деревьях ихние снайперы и бьют нашего брата поодиночке... Тут еще и лыжники за нашим передним краем появились. Ну, отпросился Терентий у ротного за письмами сходить. Двинулись вдвоем: он и еще один парень, Димка. Тот все от невесты письма ждал. На полпути нарвались на засаду. Им бы назад повернуть, а Терентий заупрямился: пойдем – и баста. Свернули с дороги в лес. Тут Терентия и снял снайпер.

– Обоих?

– Нет, Димка вернулся... Потом взвод послали, до-роту прочистили. Вот к чему оно, душевное беспокойство, приводит. А мне среди других легче было. Конечно, и поморозился я, и в окружении трое суток на снегу голодный лежал, и плечо мне осколком поцарапало. Но на сердце тепло было... А как начнут ребята рассказывать про своих, я молчу. Много всяких разговоров про женский пол слышал. На фронте-то о женах все больше хорошее говорят. Слушал и думал: лучше моей все равно нет для меня. Знаю, что тоскует Алена, люто тоскует. Я ее в письмах успокаиваю, ругаю, а от той тоски мне вроде жить легче. А об ревности я и не вспоминал никогда. Потом в госпитале лежал. Много всяких женщин видел. Санитарки, фельдшерицы веяние из Ленинграда. Красивые бабы были. А все чужие. Ни с одной не ужился бы. Значит, так уж устроено, что для каждого мужика лишь одна баба на свете есть. Только не все находят свою, которая предназначена...

– А как ее найдешь? Ведь не написано на лбу у нее.

– Не написано, верно. Но я-то знаю – нашел свою... Когда отпустили меня со службы, не чаял, как до дому добраться. В Оду ехал даже к Григорию не заглянул. Прямой наводкой в

Стоялово, ночью, пехом... Пришел, стучу в окошко. Эх, да что говорить! Не знаешь ты этой радости. А дай бог, чтобы узнал... Хорошая жена – это, парень, может, самое главное в жизни.

– Главное – Родина.

Дядя Иван приподнялся кряхтя, сел.

– Родина, говоришь? Родина, парень, это и есть жена, ребятишки, семья, хата моя, деревня.

– Ну, а страна, весь Советский Союз как же?

– Страна, страна. – Голос дяди Ивана звучал сердито. – На кой черт ты и ужен стране, ежели ты кукушка без гнезда. Что для такого летуна дорого? Ничего! А вот я за свою деревню, за свой дом голыми руками драться пойду. И так каждый. Ежели поодиночке – за свое бодем, а ежели наев кучу собрать – получится, что за всю землю.

– Не обижайся, дядя Иван. Я тебя по-серьезному опрашиваю. Разобраться хочу.

– Поедешь учиться, там разберешься. А я и сам недалеко вижу. Знаю одно: дорого человеку то, что сделано своими руками.

– Дом?

– И дом, и семья, и колхоз.

– А если выше взять – значит, и государство.

– Ну, ты опять на облака полез, – усмехнулся Иван. – Ты про это с Сидором Крючком потолкуй. Он любит.

Задом, на четвереньках, дядя Иван выбрался из шалаша. Поднявшись, потянулся так, что захрустели кости.

– Наговорился я с тобой, Игорь, аж язык заболел. Хуже, чем на покосе, умаялся. Вылезай, пора уже нам.

Пошли по тропинке, среди смутно белеющих в темноте стволов яблонь. Издалека услышали храп деда Крючка. Возле большого шалаша, похожего на стог сена, дядя Иван остановился, позвал:

– Дед, а дед!

– Ктой-то? Ты, что ли? – раздался недовольный, хриплый тол ос.

– Я самый, вылазь.

– Поспать не дал, черт баламутный, – ворчал дед, одной рукой поддегивая короткие портки, другой мелко крестя рот. – Ты, Ванька, завсегда до срока приходишь.

– Во-на! Уже вторые петухи пели.

– А темень-то, ядрена лапоть!

– Пасмурь.

Голова у деда почти совсем лысая, только на висках торчат редкие волоски. Лицо худое, вытянутое. Маленькие глазки запрятаны глубоко под надбровными дугами. Шея у него длинная и морщинистая, как у ошипанного петуха. Дед сутулится, посконная рубаха на спине бугрится горбом.

– Кто это с тобой? – спросил Крючок.

– Племяш.

– Гришкин сын, значит? Чего к нам-то пожаловал?

– Так, отдохнуть.

– А Гришка... Григорь Митрич как тама? Все в начальствах ходют?

– Все ходит, – улыбнулся Игорь.

– Вишь ты, ядрена лапоть, деревня наша какая! Куды ни глянь, хоть в Одуев, хоть в Тулу, хоть в Москву, – везде наши есть. Стояловские ребята головастые. Степка Ермаков, мой сосед, полковник теперича, во как! А я же его, голодранца, крапивой порол. Без отца рос малый. Ну, его мать, Акулина, завсегда на такое дело меня звала. Я же по деревне первейший воспитатель был. И отцу твоему тоже вкладывал... Гришка, он шустрый стервец был.

– погоди, дед, – прервал дядя Иван. – Загибаешь ведь ты.

– Да накажи меня бог! Гришку-то кто же, как не я воспитывал? Такой шпингалет вострый, разов пять я его в своем огороде ловил, уши драл... А ты заметь, Иван, к кому я руки приложил, все в начальство вышли. Ты, ядрена лапоть, теперь жалеешь небось, что моего кнута не попробовал. Был бы ты ноне генерал какой или директор, ходил бы с сытым брюхом и завсегда в ботинках.

– Мне, дед, жизнь поздно менять. – Дядя Иван легонько толкнул Игоря в бок. – А вот племянника тебе надо на верную дорогу вывести. Темный он, любопытствует насчет жизни. Объяснил бы ему.

– Это мы можем! – обрадовался Крючок. – Это нам все равно, что курица яйцо снесет. Ты садись, паря, хороший разговор правду любит, а в ногах правды нет.

– Не сейчас, Сидор, не сейчас, – возразил дядя Иван. – Мы на рыбалку.

– Ну, пес с вами, – выругался дед. – Валяйте... Только на уху принести не забудьте.

Прежде чем отправиться на лов, нужно было набрать червей для наживы. Игорь, наклонившись, медленно пошел по тропинке, раздвигая влажные пахучие ветки смородины. Дядя Иван нес фонарь. На черной влажной земле попадались круглые дырочки, оставленные после дождя выползнями.

– Припозднились мы, – подсадовал Иван.

– Ничего, наберем... Вот, есть один! – В руке Игоря извивался крупный темно-красный червяк. – Ого, да тут еще пара! Под кустом смотри!

Выползней бросали в ржавую консервную банку с проволочной дужкой. Черви старались спрятаться, уйти поглубже. Но земли в банке было мало скроется один конец – виден другой.

– Слушай, а этот ваш Крючок – веселый старик, правда?

– Может, и веселый, – неопределенно ответил дядя Иван. – Дурака валять он умеет. Не успеешь моргнуть, словами опутает, как паутиной.

– Хороший дедок, с таким не соскучишься.

– Оно, конечно, – согласился дядя Иван. – Осторожно – червяк! Банку давай!.. Конечно, – повторил он, – скучать не приходится. Только этот самый хороший дед запрошлым летом паренька одного чуть не убил. Залез в сад, крыжовнику попробовать, а дед подобрался сзади да из берданки солью в него. Почти в упор. И кожу парню посек, и одежду напортил. А главное – напугал человека до полусмерти.

– За дело, – возразил Игорь. – Полез воровать, значит, виновен.

– Какой там вор – из соседней деревни парнишка... Ну, предупредил бы его, в правление отвел. В крайнем случае, по ногам лупцанул бы. Нельзя же за пригоршню крыжовника человека губить...

– Крючку, наверно, разбираться некогда было. Его понять не трудно: общественное добро бережет.

– Может, общественное, а может, и нет...

– Сад-то ведь колхозный?

– Колхозный, – оказал Иван. – Только замечаю я, что о саде Крючок не больно печется. На мой конец он, почитай, раз в неделю навещается... А крыжовник бережет, это верно. Крыжовник-то на той самой земле растет, которой раньше Крючок владел. Вроде был он на этом куске хозяином, а теперь сторожем при нем состоит.

– Разве старик из богатых?

– Ну, не то, чтобы из богатых, а крепенький мужичок был. Все норовил на чужой шее проехать.

– Ого! – удивился Игорь. – А теперь-то почему он в а крыжовник и за эту землю болеет?

– Откуда я знаю. Старик вроде веселый, довольный. А земля-то, значит, тянет его... Ну, заболтались мы с тобой, парень. Пойдем скорее.

Дядя Иван задул фонарь. Сразу ярче проступила светлая полоса на восточной стороне неба. Начиналось утро. Поеживаясь от сырости, Игорь быстро зашатал к реке.

* * *

Лес устал от дневного зноя, дремлет, отдыхает в лучах предвечернего, уже не палящего солнца. Ветра нет. Не шелохнутся, не двинутся зеленые сарафаны белоствольных березок. Мягкие тени лежат на траве. Прогалины пестрят солнечными бликами. Светло и чисто в березняке. Под деревьями, склонив головки, дремлют синие колокольчики. На полянах засилье лилово-красных цветов иван-чая, скромно белеют лепестки нивянки, золотом поблескивает зверобой.

Как в сказочном царстве, замороженный, неподвижный стоит лес. Бабочки медленно, будто опавшие листья, кружатся в воздухе и опускаются на цветы. Тишина необыкновенная. Слышится только сухой треск кузнечиков. Без отдыха тянут они свою однообразную песню. И кажется, будто лес этот как замер, так и стоит неподвижно тысячи лет, и тысячи лет без устали трещат и трещат кузнечики.

На опушке в лицо жарко пахнул медовый воздух. Поднял голову – липа. Сотни пчел с легким гудением кружат среди листвы.

Неохотно вышел Игорь из лесу. Остаться бы здесь, идти медленно и бездумно от поляны к поляне.

Раздвинул руками кусты. Впереди, на обширной прогалине виднелась деревушка: десятка два изб по краю оврага. Ближе – несколько длинных одноэтажных построек, зеленый забор и ворота с аркой. По высокой траве носились с сачками ребята. Детдомовские девочки в одинаковых синих юбках и белых панамах собирали цветы.

– Петька, Петька, – кричал кто-то. – Иди сюда, Петька! Я жука поймал! Где ты, Пе-е-етька-а?

Подходить ближе к пионерлагерю Игорь не хотел. Увидит кто-нибудь из знакомых, скажет маме. Опять неприятность. Вместо занятий сынок в лагерь бегаёт.

Написав короткую записку, подозвал черноволосого мальчугана, пробежавшего мимо.

– Тебя как зовут?

– А что? Колька...

Мальчишка с любопытством смотрел на дяденьку, появившегося вдруг неведь откуда. Может, это шпион? Только шпионы не такие. Они злые и страшные. А этот молодой. Улыбается весело, зубы белые-белые. И потам шпионы не носят тапочек на босу ногу и старых тюбетеек.

– Ты, Колька, вожатую Настю Коноплеву знаешь?

– Ага. В третьем отряде.

– Молодец. Только ухо не ковыряй, проткнешь... Вот лети, отдай Насте записку. Но чтобы никто не видел.

– Вы сами сходите, дяденька. Мне Петьку найти надо. У него коробка моя.

– Самому нельзя. Тут дело секретное.

– А какой секрет? – загорелся мальчишка.

– Я тут ежа караулю, – придумал Игорь. – Нору видишь? Ежик спрятался, мне отойти нельзя.

– А еж для нас?

– Конечно. Зови скорей Настю, мы с ней поймаем.

– Я мигом! – Мальчишка побежал к лагерю, оставляя за собой седую полосу примятой травы.

Игорь хотел сесть, посмотрел на землю и весело хмыкнул. Возле ног – красная шляпка подосиновика. Рядом – второй гриб. Сорвал и залюбовался ими: крепкими, будто точеными,

с белыми пятнистыми ножками. Ползая на коленях, нашел еще два. А когда поднялся, увидел Настю. Она торопливо шла к лесу. Все быстрее, быстрее, и вот не выдержала, оглянулась и припустилась бегом. Наклонившись вперед, придерживая руками развевающуюся юбку, летела птицей, то по пояс скрываясь в траве, то на кочках поднимаясь вдруг во весь рост.

У Игоря радостно запело сердце: «Ко мне бежит!»

Хотел пошутить, спрятаться – пусть поищет. Но не решился. Понял – обидит ее. Окликнул негромко:

– Настя!

Остановилась рядом, бурно дыша, протянула тонкую руку, долго не отнимала ее, повторяя:

– Игорь, здравствуй! Здравствуй, Игорек!

А ему было неловко, не мог смотреть в глаза. Пришел ведь не ради нее, ради дела. Скрывая смущение, сказал ворчливо:

– Волосы растрепались, давай приглажу.

– Пойдем дальше, в лес. Здесь ребята...

Схватив за руку, бегом потащила его в березняк.

Настя сильно загорела. Все смуглое: и похудевшее лицо, и шея, и девчоночьи узкие плечи. Только под лямками красного сарафана кожа осталась светлой. Босые ноги в царапинах, как у мальчишки, волосы выцвели, порыжели.

– Ну, поправь.

Игорь неумело провел ладонями от лба к затылку, приглаживая завитки. Настя вся подавалась к нему, прижалась плечом, вся в его власти. Но глаза такие чистые, что он невольно отдернул руку, коснувшуюся обнаженной спины.

– А ежик где?

– Сам вместо него.

– Обманул Николку? Он теперь от меня не отстанет.

– Я принесу. Из деревни.

Игорь сел, прислонившись спиной к дереву. Настя прилегла на траву, свернулась калачиком, совсем маленькая, как ребенок. Взяла его руку, горячей щекой прижалась к ладони. Снизу вверх глядела ему в лицо, смотрела и не могла насмотреться.

– Я тебя ждала все эти дни.

– Почему же?

– Скучала очень. Думала, почувствуешь и придешь... А ты вспоминал меня?

– Еще бы...

Игорю было и хорошо и немножко не по себе. Но разве скажешь Насте, что в эти дни редко думал о ней? Другой девушке выложил бы все, а вот ей – нет, Ой а доверчивая, бесхитростная. У Игоря такое ощущение, будто он перед кем-то ответственный за нее. Перед собой, что ли?

Вот как бывает: в пятом классе посадили его за парту с девчонкой. Не разговаривал с ней месяц, хотел, чтобы ушла, чтобы вместо нее сел Сашка Фокин. А она молчала и не уходила. Потом, на контрольной, когда Игорь не мог оправиться с трудным примером, положила перед ним промокашку с решением. В седьмом или восьмом классе шел с ней из школы. Ребята на улице крикнули: «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» Больше не ходил... У Насти верхняя губа немного раздвоена. Звал ее зайцем – не обижалась. Разве думал тогда, что будет она лежать рядом, прижавшись щекой к его ладони? Ведь последний год и совсем не замечал ее, мысли были заняты Ольгой... А Настя? Нелегко ей было, наверное, в это время.

Игорь ласково провел рукой по ее плечу.

– Притих зайчонок...

– Школу вспомнил? – восторженно сказала она. – И я вспоминаю часто. Мы тогда каждый день виделись. Ты к экзаменам готовишься? Литературу выучил?

– Почти.

– Языком займись, – посоветовала она. – Приставки «при» и «пре» повтори. Путаясь ведь в них.

– Сделаем... Ты-то как управляешься?

– По утрам пораньше встаю. И отряд у меня хороший. Мальчишки неизбалованные, из детдома. Уведу их в лес, а сама за книгу.

Вдали запел горн, его приглушенные звуки мягко плыли в теплом воздухе, Настя вскочила, одернула сарафан.

– Ой, Игорек, мне пора. Это ужин. Может, ты подождешь? Или нет, иди лучше. А то заблудишься ночью... Ежа когда принесешь?

– Как поймаю.

– Буду ждать.

– Ты в город не собираешься?

– А что? – насторожилась она.

– Письмо передать нужно.

– Можно послать с шофером, Иваныч через день ездит.

– Вот с ним и пошли, ладно? – обрадовался Игорь. – Пусть Витке Дьяконскому передаст.

Мимо дома поедет...

Взглянув на Настю, осекся. Девушка нервно покусывала травинку, а глаза у нее были грустные-грустные.

– Ты... Ты для этого и пришел?

– Нет... То есть, да, – растерялся Игорь, – Проведать и письмо заодно.

– Скорее наоборот.

– Нет же, Настя, нет! Ну и глупая ты. Ведь письмо и по почте можно было отправить. Заодно я. – Игорь говорил горячо, он уже сам верил, что пришел не ради письма. Было жаль Настю. И черт его дернул! Отправил бы, действительно, почтой!

– Настенька, извини. Я и не думал, что ты обидишься...

– Что уж там... Давай конверт.

Она пошла по лесу, наклонив голову. Игорю было больно смотреть на нее. Знал, что и сам будет теперь мучиться, переживать. Но что сделать? Окликнуть, сказать хорошее слово? Какое, где его взять?

Возле старой березы Настя замедлила шаг, обернулась.

– Игорь, ты поскорей приходи, ладно?

– Завтра, – обрадовался он. – Сразу после обеда, На это же место.

– Хорошо. Жду тебя.

Она скрылась за деревьями. Красный сарафан мелькнул между стволами еще несколько раз и исчез среди кустов на опушке.

Шесть километров от лагеря до Стоялова Игорь пробежал за полчаса. В шалаше дяди Ивана вытащил из-под кучи вялой травы книги. Сел по-турецки, скрестив ноги, посплюнул палец и отсчитал десять страниц в учебнике истории, двенадцать в учебнике по литературе. Переложил закладки.

Сунув книги под мышку, степенно зашагал в деревню. По просьбе отца, дядя Иван каждый вечер проверял, сколько выучено. Если мало, ругал. Но Игорь нашел выход. Судя по закладкам, дело продвигалось успешно, и заниматься ему оставалось совсем немного. А по настоящему – обе книги не прочитаны и до половины, а за русский язык совсем не брался. «Время еще есть. С завтрашнего дня нажму», – успокаивал себя Игорь.

Дома было пусто. Дядя Иван не вернулся с поля, ребята убежали на реку. В избе прохладно. Тетя Лена помыла полы, с песком потерла доски. Они стали желтые, будто восковые. Ветер влетал в окно, шевелил ситцевую занавеску над полатями около печки. Из хлева слышался голос:

– Не балуй, не балуй... Вот я тебя, проклятая!

«Шик-шик, шик-шик», – били в ведро тугие струйки молока.

Минут через пять тетя Лена вышла во двор. Тыльной стороной ладони откинула волосы со лба.

– Ты здесь, бродяжка? Давно?

– Только-только.

– Умывайся, есть будем.

– Спасибо, не хочу. Вы не знаете, где мне ежа достать?

– Это еще зачем? – удивилась тетя Лена.

– Друг у меня натуралист. Всяких ужей, голубей разводит...

– На пасеку сбегай. Надысь Герасим Светлов жаловался – замучили, говорит, ежики. Только смотри, непоседа, завтра на коровьем реву разбужу, не выспишься.

– Ничего, я свое наверстаю, – крикнул Игорь уже со двора.

Пасека колхоза – полсотни ульев – на краю деревни, среди молодых лип. Герасима Игорь застал в маленькой избушке с низким потолком. Сильно, приторно пахло медом. На столе горкой лежали пористые соты в рамках. Пасечник, худой, с темным суровым лицом, мастерил крышку улья. Игоря выслушал молча, пощипывая узкую, клином, татарскую бородавку.

– Пойдем, – и первым направился к двери. На нем была старая, латаная-перелатанная синяя рубаха, широкие полотняные штаны с заплатами на коленях. Он заметно припадал на левую ногу.

«Трудно, наверно, с отцом таким», – подумал о Василисе Игорь. Ему было неловко идти рядом с хмурым пасечником. Хотел заговорить, да не знал о чем.

Пчелы кончили рабочий день, кучками копошились на летках. Лишь изредка появлялась запоздавшая труженица, натруженная нектаром, тяжело уползала в улей. Одна с разгону ткнулась в рукав Игоря, упала на землю. Жужжала, пытаясь подняться, но не могла. Герасим поддел ее прутиком, подбросил в воздух.

– Трава оросела, крылья мочит, – коротко пояснил он.

Игорь, опасливо косясь на ульи, пробрался в середину пасеки, остановился возле старой яблони.

– Лезь.

Игорь вскарабкался на развилок, где отходили от ствола толстые сучья.

– Сиди и смотри. Увидишь – прыгай.

– А они часто приходят?

– Отбоя нет. Бегут на медовый дух.

Пасечник ушел. Устроившись поудобней, Игорь начал рассматривать ближние ульи. Деревянные аккуратные домики с покатыми крышами стояли на чурбачках, врытых в землю. Пчел на летках становилось все меньше, уползли внутрь, отдыхать.

Теплый сыроватый воздух казался тягучим от запаха свежего меда. Солнце село, густели сумерки. Свернулись цветы одуванчиков. Темный лес придвинулся ближе.

Скоро Игорю надоело сидеть на яблоне. Закралась мысль: а не посмеялся ли над ним пасечник, посадив на дерево вместо чучела? Потом будет рассказывать, какие недотепы эти ребята из города.

Взявшись рукой за сук, Игорь свесил ногу, намереваясь спрыгнуть, и замер в этой неудобной позе. Перед ульем зашевелилась трава, выкатился серый комочек. Повертев острой мордочкой, ежик привстал на задних лапках. Раздалось легкое фуканье – еж дунул в леток. Оттуда,

потревоженные ветрам и ненавистным запахом, стремительно, со злым гуденьем, вылетели пчелы. Их появлялось все больше. Кучкой кружились они над землей, набросились на незваного гостя, облепили его. Еж свернулся в клубок, спрятал мордочку и вдруг резко встряхнулся. Пчелы посылались в сырую траву, забились в ней с тонким, звенящим звуком. Ежик подбирал их языком, то и дело отряхиваясь, сбрасывая на землю все новых и новых.

Игорь с удивлением и любопытством смотрел на маленького разбойника. А еж, насытившись, принялся кататься по земле, накалывая пчел на иглы, чтобы унести с собой. Как только Игорь прыгнул с дерева, зверек притаился, не двигаясь. Брать его сразу было опасно – слишком много пчел летало вокруг.

Прошло несколько минут. Ежик, успокоившись, пошевелился, высунул мордочку, сделал несколько шажков. Но стоило топнуть ногой, и он снова замер.

Когда скрылись в летке последние пчелы. Игорь снял рубаху, накинул на ежа и понес его к избе пасечника. Герасим, покуривая, сидел на бревне. В сумерках его лицо казалось совсем черным.

– Поймал! – сказал Игорь.

– Видел, что творят? Каждый вечер по два, по три являются. Беда! А как перевести – не знаю.

– Убиваете их?

Герасим помолчал, пожевал самокружу, потом спросил:

– А ты убьешь?

– Нет. Жалко.

– Вот и я... Ребятишкам отдаю или отношу в сад, на тот конец деревни. А они обратно бегут. – Герасим поднялся. – Погляжу, нет ли еще там...

На другой день еж был доставлен в пионерский лагерь. А вечером Игорь снова переложил на десять страниц вперед закладки в нечитанных учебниках.

* * *

Решение поступить на исторический факультет возникло у Игоря не случайно. Он любил историю, но не тот набор фактов и дат с обязательными выводами, которые преподносятся школьной программой. Учебник он раскрывал неохотно. Он любил историю человека, жившего на земле десятки тысяч лет, историю живую, наполненную борьбой и страданиями.

Узнав от стариков, что в подземном ходу от соборной горы к реке находили когда-то шлемы и кольчуги, Игорь организовал экспедицию. Было это прошлой весной. Пошли вчетвером, захватив лопаты и фонари. По провалам в почве разыскали ход. Рыли до позднего вечера, но ничего не попало. Зато на следующий день нашли пожелтевший череп. Игорь решил, что это останки одного из защитников Одуева, павшего в бою с войском Ягайлы. Но сторож соборного кладбища обругал ребят, назвал их святотатцами за то, что они подрыли снизу могилу купца Шафранова и осквернили прах в бозе почившего гражданина. Престарелая дочь Шафранова заявила в милицию. Дома Игорю основательно влетело.

В десятом классе он перечитал много книг. Особенно увлекся историей первобытного общества – очень уж интересными показались ему труды профессора Равдоникаса...

Когда стояловские мальчишки рассказали, что весной после половодья видели на берегу речушки Малявки «огромную» кость, не смог Игорь удержаться от соблазна еще раз испытать свое счастье.

К середине лета Малявка почти пересохла: в зеленом коридоре из ивняка спокойно тек ручей в два шага шириной. Кое-где виднелись омуты, заросшие осокой. Одна кость исчезнувшего гигантского животного попасть сюда не могла. Мамонт или носорог провалился в яму,

его засыпало сверху. По мнению Игоря, здесь можно было разыскать остатки скелета. А это же небывалый случай – скелет мамонта в центре европейской части России!

Мальчишки показали место. Игорь сбросил рубашку и брюки, взялся за лопату. Поглазев на него, ребята нашли себе занятие поинтересней: принялись строить запруду. А он, делая небольшие перерывы, копал до тех пор, пока не услышал над головой насмешливый голос:

– Эй, крот! Пуп земли еще далеко?

Сверху свалился на него Сашка, румяный, толстощекий, веселый. Следом Виктор. Наступая с двух сторон, толкали плечами.

– Как гостей встречаешь?

– Оркестра почему нет?

– Не ждал, братцы, – отбивался Игорь. – Помилуйте. Замолю грех!

– Ты чего ищешь тут? Клад, что ли?

– Мамонта.

– Да ну! – удивился Фокин. – Он же дохлый, зачем тебе?

– Суп варить!

– Небось задубел – не разваришь!

– Ладно, Игорек, обождет наука, – сказал Виктор. – Мойся да пойдем отсюда.

На Дьяконском – белая безрукавка, новые ботинки. Сашка в рубашке-косоворотке под кавказским наборным ремнем. На ногах – хромовые сапожки.

– Чего разрядились? Праздник сегодня? – спросил Игорь, умываясь в ручье.

– Суббота. В деревне вечерка будет, нам все известно.

– Ну, ладно, – усмехнулся Игорь. – Я еще понимаю Виктора, а ты-то, Саша, на что считаешься?

– Я? – Фокин омочил водой волосы, достал из кармана зеркальце, подмигнул сам себе. – Я уже такую красавицу присмотрел – эх! Спляшешь – каблуки на бок. Ты, волк лесной, девчата на тебя жалуются. Парней мало, а этот, городской, нос, дескать, воротит. А ты знаешь, как Витька сюда шел? Скорость – тридцать километров в час. И притом пел. Ты же знаешь, какой у него голос. А я – музыкант! – его слушал!

В лесочке выбрали место, где гуще тень, прилегли среди резных листьев папоротника. Сырой и прелый держался здесь воздух.

– Какие у вас новости, в большом свете? – спросил Игорь.

– Темный ты человек, – засмеялся Фокин. – Мамонтов из земли выковыриваешь, а сам ми черта не знаешь. Объясни ему, Витька.

– Литва, Латвия и Эстония вошли в Союз Советских Республик.

– Как? – приподнялся Игорь.

– А так! По желанию народа. Их правительства обратились с просьбой в Верховный Совет.

– Шутишь?

– А похоже?

– Не-е-ет! – Игорь смотрел в глаза Виктора. – Но ведь это же здорово, а? Что они – игрушечные государства. Кто хочет, тот и сшамает. А теперь – тронь попробуй! И раньше одной страной жили. Свои ведь люди-то.

– Важно еще, что граница на запад передвинулась. К самой Восточной Пруссии. В случае войны – знаешь...

– Ну, спасибо за новость, братцы! По такому случаю закурить дайте, что ли!

– А маме не пожалуешься? – съехидничал Сашка. – Младенца портим.

Игорь прикурил неумело, папироса тлела с одного бока.

– И вообще должен тебе заметить: наше время – рай для историков, – сказал Дьяконский. – Что ни день, то событие мирового масштаба.

– Слушайте, ребята, я с тоски умру, – взмолился Фокин. – Как где два человека сойдутся – о политике языки чешут.

– Саша, у тебя сказывается недостаток образования, – холодно заметил Виктор.

– А у тебя избыток. Ты и на гулянке об этом говорить будешь?

– Не знаю. Ни разу не был, не представляю. Что там делать, о чем говорить? А сходить все-таки надо, – вслух размышлял Виктор. Голос его звучал мягко и был очень похож на голос Ольги...

На площадке за околицей, где обычно устраивались вечерки, собрались ребята и девушки. Парией было немного, все зеленая молодежь, лет по шестнадцати-семнадцати. Кто постарше – служили в армии или разъехались по городам.

Ребята сбились в кучу возле четверых, резавшихся в карты. Многие были босиком. Присутствие хорошо одетых горожан, куривших папиросы, смущало их. Они держались отчужденно. С явным любопытством разглядывали Дьяконского: кто-то уже пустил слух, что он сын расстрелянного генерала. Виктор чувствовал себя неловко.

Один Сашка был, как рыба в воде. Уселся на бревно между двумя курносыми толстушками, лушил семечки и натапывал что-то своей соседке.

Дьяконский нет-нет да и повернется назад, посмотрит, не идет ли Василиса. А она появилась совсем с другой стороны, от пасеки. Шла, обнявшись с подругой.

– Здравствуй, – радостно улыбнулся Виктор.

Девушка прошла мимо, ничего не оказала, только головой кивнула в ответ. Щеки у нее пунцовые, то ли от смущения, то ли от быстрой ходьбы. Остановилась в стороне.

– Что это она? Сердится? – шепотом спросил Виктор.

– Порядок такой. До танцев парни и девушки врозь.

На Василисе – черная широкая юбка в крупную складку. Полотняная кофточка, вышитая красными крестиками по вороту и на рукавах, велика ей и немного пузырится на плечах. Платок надвинут по-бабьи, низко. Под белыми кончиками платка горят на шее мелкие ягодки бус.

– Витька, чего мы тут торчим, – сказал Игорь. – Пойдем в карты резанемся. А то домой двину.

– Погоди, погоди... А я как же?

– Ты с Сашкой.

– Он уже невменяем, не видишь разве...

Минут через десять пришел, наконец, гармонист, маленький паренек с очень серьезным лицом, в огромной зеленой фуражке. Вместе с гармонистом – четверо ребят из Дубков. Выделялся среди них самый старший, широкий в плечах и, видимо, сильный парень в хорошем синем пиджаке. Военные галифе заправлены в сапоги. На голове – густая копна рыжих, почти красных волос, чуб навис над глазами, мешает смотреть. Крупные медные веснушки запятнали лицо.

Проходя мимо Виктора и Игоря, парень усмехнулся, тряхнул волосами.

– Наше вам с кисточкой!

Уверенно, вразвалку двинулся дальше. Глядя в его широкую спину, Игорь пояснил:

– Это Лешка Карасев, тракторист. Рыжим его зовут. Восемь девок, один я – первый парень в округе.

Между тем Карасев одарил конфетами девчат, перед парнями щелкнул портсигаром. Ребята потянулись за папиросами.

– Чегой-то скушно, девушки? – Голос у тракториста громкий, хозяйский. – Али вы тут без музыки приуныли? Дай-ка мне, Митя!

Взял гармонь, пальцы ловко прошлись по ладам. Парни побросали карты, девчата потянулись поближе.

– Эх! – гахнул Лешка и заиграл веселую плясовую.

Маленький Митя будто ждал этого. Сдвинул назад козырьком фуражку, пошел вприсядку, высоко вскидывая колени. А лицо такое серьезное, будто делал важное дело.

Сашка Фомин чертом выскочил в круг, оттеснил паренька. Митя стушевался, отошел с площадки. Гармошка смолкла.

– Ну, чего там? – повернул Сашка взлохмаченную голову.

– Погодь, – угрюмо сказал Карасев. – Ты чего, дубковских переплясать хочешь?

– А сколько вас на фунт сушеных дают?

Лешка Карасев не ответил, небрежно бросил на руки девушке пиджак, отдал гармонь Мите, пригладил ладонями огненные кудри. Пошел медленно, расставив руки, будто шире раздвигая круг. Фомин, заложив руки за шею, откинувшись назад корпусом, отбивал чечетку на месте. По лицу видно было – встревожен. Поймав его взгляд, Игорь улыбнулся ободряюще: держись, дескать, мы рядом.

Музыка ускорила так, что идти было уже невозможно. Карасев пустился вприсядку. Сашка хитрил, берег силы, все еще отбивал чечетку, хлопая ладонями по голенищам сапог.

– Жги, Митя!

Гармонист так рванул меха, будто хотел надвое разорвать гармошку. Перед глазами мелькали то лицо Сашки, то чуб тракториста. Гулко били о землю подошвы сапог.

– Эх, эх, эх, эх! – несло с круга, и трудно было понять, чей это голос.

Гармонист сбавил темп, все оглянулись: почему? В круг, чуть подобрав длинную юбку, плечом вперед входила Василиса. Ступала мелкими, неприметными шажками – казалось, плывет под музыку, откинув назад голову на тонкой шее.

Сашка остановился, отошел, пошатываясь, к ребятам. Карасев продолжал плясать, потряхивая чубом, оскалив в усмешке зубы. Пятился, отступая перед Василисой. А та плыла, будто не замечая его. Пушистые концы кос, как живые, трепыхались за спиной. Сдернула с головы платок, махнула перед собой.

Ой, стоит гора, гора высокая,
А на той горе четыре сокола...

Голос у нее высокий, звенящий, но приятный для олуха. Пела, неотрывно глядя на Виктора.

Четыре сокола и соколеночек,
Четыре сокола и мой миленочек...

Дьяконский стиснул руку Игоря. Возле Василисы во всю силу трамбовал ногами землю Лешка, стараясь привлечь внимание девушки. И едва смолк ее голос, крикнул:

– Митя!

Гармонист сменил мелодию, Карасев запел хриплым баском:

Пароход идет по Волге,
Дым по ветру стелется,
Девка едет без билета —
На любовь надеется!

Василиса повела плечами, накинула на них платок, держась руками за концы, прошла полкруга, повернулась к Лешке и ему:

Нету света, говорят,

Нету электричества,
Нету качества ребят —
Не надо и количества!

На лице Карасева – нагловатая усмешка. Придвинувшись к девушке, почти наступая ей на ноги, пропел вкрадчиво, не в лад музыке:

Что ты ежишься, корежишься,
Пощупать не даешь?..

И громко, почти зло:

Будешь ежиться, корежиться,
Нешупанной уйдешь!..

– Дурак! – вспыхнула Василиса, толкнув его локтем в грудь.

Повернувшись резко и пошла к бревнам. Лешка развел руками, подмигнул парням. Остановился возле Сашки Фомина, щелкнул портсигаром – пусто.

– Дай закурить... Видел кралю? Ломается. Прошлый раз в луг идти не схотела.

У Виктора – злое, перекошенное лицо. Опустив руку на плечо Лешки, рывком повернул к себе. Тот едва удержался на ногах от неожиданности.

– Не балуй!

– За что девушку оскорбил?

Карасев пожевал неприкуренную папиросу, перебросил ее из угла в угол рта.

– Это по-вашему, по-городскому, – оскорбил... А у нас сколько хочешь... Ну, пусти.

Дернулся, стараясь освободить плечо, но Виктор держал крепко, не мигая глядел в нагловатые глаза Карасева.

– Девушку обидел, герой юбочный... Меня обидь...

– Испугал!

– Такого-то смелого?!

Их окружили ребята. Игорь на всякий случай подвинулся ближе, кивнул Фокину.

Музыка смолкла. Слышалось тяжелое дыхание сгрудившихся парней.

– Гля, ребята, чего он прилип! – крикнул Лешка.

Ему не ответили. Стояловские смотрели на него недружелюбно, у многих, зная, были свои счета с ним.

– Ну, герой, – усмехнулся Дьяконский. – Отойдем в сторонку, поговорим.

– Мне и тут неплохо.

Из толпы ребят кто-то сказал зло:

– Трусит... Небось не трусил, когда двое на одного...

– Не брешь там, – рванулся Лешка, но Виктор нажал на его плечо так, что он перегнулся.

– Собака брешет, да ты с ней, – ответил тот же голос.

– Я вот приду с нашими.

– А ты сейчас! Слабо?

Дьяковский отпустил наконец Лешку.

– Хватит болтать. И заруби на носу: будешь похабничать – выставлю с треском. Понял?

– А ты чего взъелся? Тоже мне, милиционер выискался, – хорохорился Карасев.

Фокин обнял тракториста за талию, сказал весело:

– Пляшешь ты лихо, а котелок твой рыжий – пустой. Культуры тебе, друг, не хватает.

– На что она мне?

– Девчата любить будут.

– И так любят, – махнул рукой Лешка.

Не глядя на Виктора, предложил:

– Замнем это дело, что ли? Перекурим – и баста.

– Пошел к черту.

Виктора окружили стояловские ребята. С ними он и закурил, сев на бревно.

– Ты правильно его срезал, – чуть заикаясь, говорил паренек в тапочках и а босу ногу. –

Они тут прошлый раз наших двоих прогнали. А в Дубки хоть не показывайся.

– Хватит об этом. Что-то гармошки не слышно?

– Домой дубковские подались.

– Ну, и скатертью дорога.

Лешка Карасев, накинув пиджак, шел к лесу. За ним с явной неохотой семенил гармонист.

– Эй ты, папашин сынок! – донесся голос Карасева. – погоди, еще встретимся на узкой дорожке! Отца шлепнули, а тебе морду свернем.

Виктор бросился на голос, но из темноты послышался быстрый топот ног – дубковские убегали.

– Не догнать, – остановил Игорь.

Дьяконский сразу как-то обмяк, у него подрагивали уголки губ.

– Ну, не порть себе настроение. Плюнь на него. Негодяй ведь – лежачего бьет.

– Я – лежачий?

– Поговорка такая, – смешался Игорь. – Издалека он. Как камнем в спину.

– Не выкручивайся, правильно сказал.

– Да брось ты все это. Петь пойдём.

Дьяконский вздохнул, потер подбородок и сказал тихо:

– Ладно, пойдём петь, ничего не поделаешь.

Первым незаметно исчез с вечерки Саша Фокин. Исчез не один – вместе с приглянувшейся ему толстушкой. Игорь отправился провожать чернявую девчонку, смешливую и подвижную. Пока шел по огородам за избами, она, будто ненароком, задевала его плечом, говорила и говорила без умолку. А когда он начал прощаться, почему-то обиделась и убежала, даже не сказав «до свидания».

Дольше всех сидели на бревнах Виктор и Василиса. На другом конце деревни девушки пели песни, но звучали они все тише, все слабее. Расходились по домам намаявшиеся за день певуны.

– Пора по домам, – предложила Василиса.

Изда ее была близко. Остановились возле плетня. Виктору не хотелось уходить, переминался, думая, как оттянуть расставание.

– Ты спешишь?

– Не очень, – настороженно ответила она.

– Может, пройдемся еще?

– Лучше во дворе посидим.

Она открыла калитку, вошла первой. Во дворе темнота густая, непроглядная. Над головой шелестит листва.

– Сюда вот. – Девушка взяла его за руку, подвела к скамейке. – Садись.

Виктор не выпустил ее пальцы. Длинные и гибкие, они были грубоваты, шершавы, на них шелушилась кожа. Василиса затихла, сидела осторожно, бочком.

– Ты смелая, – сказал он. – Родители не заругают?

– Некому ругать. На пасеке тятя.

– А мама?

– Умерла.

– Вот что... Ты одна, значит?

– Два братика... Они маленькие. Молока налились и спят.

– Хозяйство на тебе? И не учишься?

– Когда же? – вздохнула девушка. – В техникум я хотела. Похвальная грамота у меня... Да разве отец управится? Ребята, корова, куры, двух поросят держим.

– Не отпускает он?

– Я и не просилась. Вот ужо подрастут малые... «И кофточка велика, и юбка. Мамино носит», – подумал он, грея между ладоней холодную руку Василисы.

Многое хотел бы Виктор доказать ей, первой девушке, которую он провожал ночью, с которой остался наедине. Так случилось не потому, что раньше никто не нравился ему. Были хорошие девушки в школе, в их классе. Но Виктор всегда чувствовал, что на нем лежит клеймо сына Врага народа, он не мог вести себя так же свободно и просто, как другие ребята, боялся нарваться на оскорбление, на неприятность. Какие родители позволят своей дочке дружить с запятнанным человеком, перед которым закрыты дороги в будущее?

Виктор держался замкнуто. Знал, что впереди у него трудная жизнь, в которую надо идти одному или с очень верным другом. И ему казалось теперь, что таким другом может быть только Василиса.

Сейчас Виктору хотелось сказать, что скоро уедут Игорь и Саша и не останется у него близких людей. Если она полюбит его, он будет верен ей всегда, всюду, сделает все, чтобы она была счастлива. И ему будет хорошо и легко, если эта маленькая шершавая рука всегда будет с ним.

Может, таких, идущих от сердца слов и ждала от него девушка, никогда не слышавшая признаний, не очерствевшая еще в обыденных тяготах и хлопотах. Запомнила бы она их на всю жизнь. И навсегда сохранила бы в памяти горячую волну радости, захлестнувшую ее оттого, что раскрылось перед ней близкое сердце.

Но Виктор не произнес этих слов. Боялся показаться сентиментальным, смешным...

– Ты в город приезжай, – предложил он. – В кино сходим.

– Нет, там нарядные все. Лучше ты сюда приходи.

– А отец? Игорь говорит – он сердитый.

– Совсем нет! Только нелюдимый стал, как мама померла.

– Ты на него непохожа.

– А я в маму – белая... Ты нам книжки приноси. Тяте про пчел, а мне – про научную фантастику. Как «Гиперболоид инженера Гарина».

– Все принесу. А ты завтра что будешь делать?

– Управлюсь по хозяйству – и на покос.

– Воскресенье ведь.

– Воскресенье зимой бывает... Только уж теперь не завтра, а сегодня, – тихо засмеялась она.

– А ведь верно, – спохватился Виктор. – Отдохнуть тебе надо. Ну, до свидания. Днем увидимся на покосе.

Отойдя довольно далеко от ее дома, он оглянулся. На темном фоне избы белела кофточка Василисы.

* * *

Антонина Николаевна Булгакова возвращалась из магазина, купила Игорю коричневый фибровый чемодан. Шла и раздумывала – не отправиться ли ей в Москву «месте с сыном. Страшно было отпускать Игоря в столицу одного. Мальчик никогда не бывал там. Неприспо-

собленный он, постесняется лишний раз в деканат зайти. Последить бы за ним, чтобы готовился перед экзаменами, с преподавателями поговорить.

Прикидывала в уме сбережения: надо купить Игорю костюм, ботинки, дать на билет и с собой... Нет, на ее поездку денег не хватало. Да и что проку было прикидывать, когда с весны еще знала – денег в обрез. Даже шляпку новую не купила себе.

Раньше Антонина Николаевна следила за модой, одевалась со вкусом. А в последние годы прибавилось хлопот, подросли дети, больше думала о них, чем о себе. Или стареть стала – ведь сорок лет скоро.

С центральной, мощеной улицы она свернула в свой переулок, пустынный и тихий, заросший лопухами и одуванчиками.

– Антонина Николаевна, минуточку!

Обернулась. К ней быстро, чуть сутулясь, шла Наталья Алексеевна Дьяконская. Не виделись они давно, с последнего родительского собрания в школе. Антонине Николаевне бросилось в глаза, как постарела Дьяконская за это время. Красивое дорогое платье из бордового крепдешина сидело на ней мешковато. Когда-то, видимо, шилось оно на полную фигуру, а теперь морщилось на груди, свободно болталось в талии.

Наталья Алексеевна неуверенно протянула руку.

– Простите, что задержала, ведь я к вам шла.

«Наверное, об Ольге», – насторожилась Антонина Николаевна, уловившая заискивающие нотки в голосе Дьяконской. Вслух сказала:

– Пойдемте, пожалуйста.

– Лучше здесь, если можно. – Пальцы Натальи Алексеевны щелкали замочком сумки. – Конечно, мне очень неудобно обращаться к вам. Особенно после того, что случилось. Но ведь я мать...

«Об Ольге», – решила Булгакова, готовая оберегать Игоря. В какую еще историю хотят втянуть ее мальчика?

– Я мать, поймите меня, – торопливо продолжала Наталья Алексеевна. – У меня душа изболела. Ведь сейчас решается судьба...

– Вы о чем, простите?

– Понимаете, мечта Вити – стать военным... «Ах, Виктор!» – Антонина Николаевна почувствовала облегчение.

– Он думает только об этом, сидит над военными книгами. А мри нашем положении в училище его не возьмут. Он молчит, но я вижу, какая у него травма.

– Но чем же я могу помочь? В школе мы дали ему хорошую характеристику.

– Игорек в Москву едет. Может быть, вы напишите несколько слов полковнику Ермакову. Ведь Степан Степанович ваш родственник...

– Очень и очень дальний. Скорее, просто знакомый.

– Все равно. Ведь он служил с моим мужем, у него вес в наркомате, ему стоит только слово сказать... Я написала ему, а ответа нет. Может быть, не получил... А если вы пошлете с Игорем несколько строк, это совсем другое дело.

Дьяконская достала из сумки скомканный платок, вздрагивающей рукой вытерла лоб.

– Антонина Николаевна, голубушка, сделайте это. Мне нечем отблагодарить вас, но такую услугу я не забуду до гроба. – В глазах ее появились слезы.

– Что вы, милая, что вы! – Булгаковой жаль было эту седую женщину. Еще недавно жена комдива, всеми уважаемая, красивая. Легко ли ей теперь на этой пыльной улочке унижаться, просить...

– Я обязательно напишу. Степан Степанович прекрасной души человек. Я уверена – он сделает все, что сможет.

Дьяконская схватила ее руку, приподняла. Антонине Николаевне показалось – хочет поцеловать. Быстро отступила, загородилась чемоданом.

– Голубушка, как же мне отблагодарить вас?

– Ну, какие глупости, какие глупости. – Булгакова смотрела по сторонам, не видят ли их. Но улица была пуста, только на дальнем конце играли в лапту ребята. – Благодарить меня не за что. Написать – это не трудно.

– О, это тоже много! И я очень попрошу вас, не говорите Игорю. Мальчики дружат, Витя может узнать.

– Да, да! Я ничего не скажу...

С тяжелым чувством вернулась Антонина Николаевна домой. Рассеянно погладила белую курчавую головку Людмилки, отроившей из щепок дом для куклы.

– Папа где?

– В амбаре. Пойдем туда.

– Нет. Ты поиграй.

Каждое лето Григорий Дмитриевич переселялся из дома в амбар. Просторный, с двумя окнами, с дощатым полом, он вполне подходил для жилья. Пазы в стенах были забиты мхом. Булгаков часто ночевал здесь до самых морозов.

Этот амбар называли шутя «филиалом райсовета Осоавиахима». На стенах висели плакаты, призывающие молодежь метко стрелять, идти в аэроклубы. Возле топчана – небольшая пирамида. В ней малокалиберная винтовка ТОЗ и винтовка учебная, разрезная. Охотничье ружье Григорий Дмитриевич держал дома. В ящике – листки мишеней с зеленым фашистом в кругу.

Несколько лет бессменно нес Булгаков общественную нагрузку – работал заместителем председателя районного совета Осоавиахима. На гимнастерке носил значок ворошиловского стрелка. По вечерам проводил занятия в кружке, обучал молодежь обращению с винтовкой и противогазом. Любил Григорий Дмитриевич вспомнить былые дни, как били Деникина, наступали на Крым. Ребята-осоавиахимовцы слушали его, раскрыв рты, с уважением смотрели на обрубки пальцев на левой руке Булгакова.

– Ну, купила? – встретил жену Григорий Дмитриевич.

Он сидел на топчане в майке, в синих галифе, шевелил пальцами босых ног. Хромовые сапоги с поднятыми ушками стояли у пирамиды. Согнув крепкую шею, Булгаков рассматривал пробитую пулями мишень.

– Оставь, поговорить надо, – сердито сказала Антонина Николаевна

– Случилось что-нибудь? – Он подвинулся на топчане. – Ты взволнована.

Антонина Николаевна рассказала о встрече с Дьяконской.

– Ты согласилась написать? – спросил Григорий Дмитриевич, раскуривая трубку.

– Конечно. Не одобряешь?

– Как тебе сказать... Степан не пойдет на это. Не станет ответственность брать.

– Почему же не помочь человеку? Виктор учился у меня. Он честный, хороший мальчик, я знаю...

– Как ты наивно рассуждаешь, – поморщился Григорий Дмитриевич. – Честный, хороший – это все эмоции. Ну, а случись что по службе, в бою?.. В плен попадет! За другого не спросят – в анкете порядок. А за Дьяконского что хочешь пришить могут. Отсутствие политической бдительности и так далее. Степан Ермаков это прекрасно понимает. Зачем же ему самому себе капкан ставить?

– А ты?

– На месте Степана – безусловно.

– А знаешь, как это называется? Это трусость.

– Тоня...

– Да, трусость. Из-за того, что боитесь за свои шкуры, страдает талантливая молодежь. Сколько их сейчас: детей расстрелянных, высланных! Среди них много умных, хороших ребят. Поверь мне, я их учу, знаю. И сии не меньше любят страну, чем все другие дети. А вы их отталкиваете от себя, относитесь с подозрением. У и их растет обида, озлобление. Кому это нужно? У нас много говорят о вредительстве. А по-моему, те, кто так поступают, и есть настоящие вредители.

– Ты преувеличиваешь, Тоня. Не всем же быть командирами, инженерами. Пусть поработают в низах. Жизнь проверит их, достойные займут свое место.

– Сомневаюсь, – усмехнулась Антонина Николаевна. – У середнячка с благополучной родословной больше шансов занять ответственную должность, чем у одаренного человека с «хвостом».

– Наш Игорь – середнячок?

– Я не имею в виду его, говорю вообще. Нельзя же так относиться к людям.

– Ты забыла, что, кроме всего прочего, мы одни во всем мире и у нас существует диктатура, необходимая для подавления остатков враждебных классов... Ей-богу, Тоня, я вынужден объяснять тебе прописные истины.

– Можешь не объяснять. Плодить в стране недовольных – это в задачу диктатуры не входит...

– Не горячись.

– Я спокойна. И Ермакову все равно напишу.

– Как хочешь. Мое дело – сторона.

– Конечно. – Антонина Николаевна встала, губы ее кривились. – Ты в стороне. Ты занят своими собаками и мишенями, тебе некогда.

– Тоня, есть же пределы!

– Занят мишенями и плюешь на все. А речь идет о человеке, о товарище твоего сына.

Булгаков махнул рукой и вдруг засмеялся беззвучно, только в горле булькало что-то. Обняв жену, притянул к себе.

– Пусти!

– Подожди, кипяток. Послушай немного старого дурака. Вот за год подготовил я двадцать три ворошиловских стрелка. Как думаешь, важнее это, чем теоретическим путем решать вопрос: будет или не будет Дьяконский командиром?

– Положим, важнее

– Ну, а собаки – это для развлечения. Кому карты, кому охота, кому блин с маслом.

– Мне, Гриша, Наталью Алексеевну жалко. Трудно ей.

– У нее двое детей взрослых, чего же жалеть. – Григорий Дмитриевич погладил жесткие волосы жены, собранные узлом на затылке. – На себя посмотри, морщинки вон возле губ... Голодная, наверно?

– Голодная, – прислонилась она к его плечу.

– Ну, иди, скажи Марфе Ивановне, чтобы окрошку готовила.

– Ладно, – мирно согласилась она. – А Степану Степановичу я напишу. Обещала.

Наталья Алексеевна как пришла домой, так сразу повалилась на кровать, не сняв даже туфель. Сердце будто разбухло, поднялось к горлу. Не хватало воздуха, и она ловила его широко открытым ртом. Остро покалывало в левом боку. Чуть шевельнешься, боль становится такой, что трудно сдержать стон. Перед глазами Натальи Алексеевны плыл туман, покачивались белые вазы на темных обоях.

– Оля, Оленька! – позвала она.

Дочь вошла. Вскрикнула, увидев бледное лицо матери, посиневшие губы. Торопливо подсунула под голову подушки, схватила за руку, щупая пульс.

– Сердце... Это пройдет, Оля... Переволновалась я...

Прикосновение мягких, ласковых рук дочери действовало успокаивающе. Уменьшилась боль.

– Воды тебе, мамочка? Окно открыть?

– Валерьянки... В шкафу возьми.

Ольга, налив воды в стакан, стояла у шкафа, отсчитывая капли из пузырька. Мать смотрела на нее. Длинный халат с красными павлинами по зеленому полю был узок Ольге. Высоким грудям тесно под ним, верхние пуговицы не застегиваются, видна белая каемка бюстгалтера. По сравнению с женственными покатыми плечами очень широкими кажутся бедра, халат облегает их так плотно, что проступила резинка трусов. Неужели Оля сама не замечает, что это нехорошо? Особенно, когда ходит. Будто обнаженная, так обтянута фигура.

– Не надевай больше халат этот, – попросила Наталья Алексеевна. – Некрасиво. – Я ведь в комнатах только.

– Витя взрослый у нас.

– Не буду. Выпей.

Ольга сняла с ног матери туфли, укрыла ее простыней.

– Лучше тебе?

– Совсем хорошо.

Наталья Алексеевна закрыла глаза. Ольга заплела конец растрепавшейся косы, села на стул так, чтобы видеть лицо матери. Вскоре она уснула. Дыхание у нее было ровное.

Через занавески в комнату пробивались косые пыльные полоски солнечного света, ложились на крашенный пол. Назойливо и монотонно звеня, билась о стекло муха.

По крыльцу протопали шаги. Насвистывая, вошел в сени Виктор, открыл дверь, Ольга подняла руку: «Тише», шепотом спросил он.

– Покушать есть?

– Сейчас выйду.

Ольга оставила на стуле вязанье, осторожно поцеловала мать в щеку и отошла на цыпочках.

Виктор в кухне уже поставил тарелку на стол.

– Ты ела?

– Нет.

– Вместе, значит... Смотри, сестрище!

Виктор подкинул вверх кухонный нож. Тот трижды перевернулся в воздухе и вонзился острием в пол возле его ног.

– Здорово, да? Это Сашка меня научил... Асса!

– Не надо, боязно.

– А мне нисколько, нисколько не страшно, – пропел он.

– У тебя радость? – спросила сестра, наливая суп.

– Заметно, да? Догадываешься, где я был?

– В кино?

– Это не причина для радости.

– Девушку встретил? Ну, эту... из деревни?

– Опять мимо.

– Тогда не знаю.

– В военкомат ходил.

– И что же?

– Обмерили, взвесили, осмотрели зубы и равнодушно сказали: годен.

– А ты доволен.

– Сестрище, ты ведь ничего не понимаешь в таких делах.

– Да, где уж нам, дуракам, чай пить!

Виктор обжегся, подул на ложку и, прищурясь, спросил без всякого перехода:

– Ты красивая?

– Не знаю.

– Знаешь, красивая. А вот скажи мне – красивые ждать умеют?

– Если любят – ждут.

– А меня красивая полюбить может?

– Нет. Ты длинный, тощий и вредный.

– Я серьезно. Не за вес же нашего брата любят.

– Не за вес.

– Так за что? За ум?

– За все вместе. Ты уж сам разберись, если любишь кого-нибудь.

– Я тебя, сестрище, люблю. – Виктор звонко чмокнул ее в щеку. – Маму, тебя, еще одну девушку и пехоту.

– А пехота при чем тут?

– Потому что скоро я иду в пехоту; в пехоту, в пехоту я ишу, – дирижируя ложкой, пропел он.

– Мальчишка ты мой милый! Глупый милый мальчишка. – Ольга засмеялась легко, от души, как не смеялась уже давно, целый месяц.

* * *

Секунда за секундой, медленно, но безостановочно идет время, складываясь в минуты, в часы, в сутки, отодвигая вдаль прошедшее, стирая в памяти детали минувшего. Новые события захватывают человека, рождая новые думы, переживания. И не всегда можно понять сразу, оценить с близкого расстояния, правильно ли поступил ты сегодня в новых, не знакомых тебе обстоятельствах. А дни уходят, оставляя в душе человека радость или горе, обогащая его опытом. Чем дальше отодвигаются события, уменьшаясь, как в перевернутом бинокле, тем легче охватить их внутренним взором, легче понять, разобраться в своих поступках и переживаниях.

После памятной прогулки в лес Ольга виделась с Матвеем только один раз. Он пришел на следующий вечер, вызвал ее в сад. Ольга чувствовала себя плохо: весь день не прекращалась головная боль, бил озноб. Она была противна сама себе, содрогнулась от омерзения, увидев смущенную улыбку на красном лице Горбушина.

Стояла рядом, отстраняясь от него, ждала, что скажет. Чужой, совсем чужой человек. Отвернулась бы и ушла, чтобы никогда не видеть, не вспоминать. Останавливала ее тлевшая в душе надежда: увезет с собой, к далекому морю, не оставит здесь на насмешки, на одинокую жизнь без просвета, без цели. Хоть и случайно, не желая того, отдала ведь ему самое дорогое...

– Поговорить с тобой хочу, – начал Горбу шин. Ольга молчала. Матвей кашлянул в кулак.

– Уезжаю я. Ты не думай, я вернусь потом. Весной. Или летом. Когда отпуск дадут. Обстоятельства у меня такие сейчас. Ну, что же ты? Ответь мне что-нибудь...

– Я слушаю, – через силу усмехнулась Ольга.

Хотелось рыдать, кричать от тоски, упасть на траву, закрыть лицо и плакать, плакать, не думая ни о чем. Но нужно было держать себя в руках, говорить с этим человеком, который на всю жизнь вошел теперь в ее память.

– Так я еду, – повторил он.

– Скатертью дорога.

– Оля! – Он попытался обнять ее, но она сильно толкнула Горбушина в грудь. – Оля, что же ты...

– Уходи.

– Вот так сейчас просто уйти?

– Да... Прощай!

– Может быть – до свидания?

Она не ответила. Пошла к дому, натываясь на кусты, как слепая. Добралась до крыльца, опустилась на ступеньки, прижалась щекой к холодной стойке перил и заплакала...

Серые и пустые потянулись дни. Не хотелось работать, жить. Шила на машинке, прибирала комнаты, готовила обед, а в мозгу была только одна мысль: «Зачем это?»

Потом Ольга надумала уехать куда-нибудь далеко, где никто не знает ее, в Хабаровск, что ли. Хотелось затеряться в большом городе, остаться одной. Начала было тайком от матери собирать вещи, но махнула рукой и на это. В Одуеве хоть не тревожит никто. А на новом месте начнутся расспросы, надо объяснять, кто ты, писать биографию, выслушивать вежливые отказы.

Горбу шин а Ольга вспоминала редко, особенно после того, как узнала, что ребенка у нее не будет. Она была очень признательна матери: та ни разу не заговорила о случившемся, не упрекнула ее. Виктор же вообще держал себя так, будто ничего не произошло.

Только теперь Ольга поняла, как много значила для нее дружба с Игорем. Он любил ее по-настоящему, отдавал ей все свое нерастратенное чувство, я это чувство будто согревало девушку, наполняло радостью сегодняшний день, вселяло надежду на счастливое будущее. А теперь Ольга осталась совсем одинокой. Вокруг была пустота; пустота ожидала ее впереди. Минутная слабость, неосторожный шаг – и она испоганила, сломала все то светлое, что было в ее жизни, причинила боль близкому человеку.

Сидя за машинкой, Ольга целыми днями упорно думала об одном и том же: где ей увидеть Игоря, какие слова оказать ему, чтобы он верил ей...

Как это ни странно, она почувствовала облегчение именно в тот день, когда заболела мама. Новые тревоги, известие о том, что Виктор уходит в армию, отодвинули на задний план ее собственные переживания. Она нужна была маме и брату, нужно было заботиться о них.

Утром к дому Булгаковых подъехала легкая рессорная тележка. Серая кобылка-трехлеток из райиополкомовской конюшни остановилась неохотно, перебирая тонкими точеными ногами, мотала головой.

– Не играйся, дура, не играйся, – говорил кучер, привязывая ее к столбу. – Наиграешься еще за двадцать-то верст по такой жаре.

В задке тележки стоял громоздкий фанерный чемодан Насти Коноплевой. Сама Настя, в красном с горошинками платье, спрыгнула с повозки, вошла во двор.

– Батюшки мои, уже! – ахнула Марфа Ивановна, увидев ее и, обнимая, запричитала: – Настенька, ясочка, приглядывай там за ним, непутевый он, оглашенный!

– Это за Игорем-то присматривать? – засмеялся Григорий Дмитриевич, появившийся на крыльце с чемоданом. – Ты ведь окажешь, мать. Он сам за кем хочешь присмотрит.

Григорий Дмитриевич бодрился, говорил громко. Следом за ним выбежала из дому Антонина Николаевна, непричесанная, со слезами на глазах. Чмокнула Настю в щеку.

– Зайди, зайди, молока выпей.

– Спасибо, я ела уже.

– Ничего не забыла? Паспорт взяла?

– Взяла.

– На груди держи. И деньги тоже. В вагоне особенно.

Маленькая Людмила тыкала в морду лошади пучком сена, спрашивала:

– Мам, а она не жувает, почему?

– Отстань! Не смей к лошади подходить, домой марш!

Кучер отправился на кухню выпить с Григорием

Дмитриевичем стопку за счастливую дорогу. Бабка принесла им из погреба малосольных огурцов.

Антонина Николаевна укладывала в повозке вещи. Ни она, ни отец не ехали провожать Игоря. Райисполкомовский кучер, приходившийся Насте дядей, обещал доставить ребят в сохранности, вытравить билеты и посадить в поезд. Со станции кучер должен был привезти троих командированных из области – места в тележке не оставалось.

– Смотри, Настя, тут курица, – говорила Антонина Николаевна, засовывая под сено узелок. – Ее ешьте сегодня же, жарко, испортится. Яички полежат подольше. Сало до места не открывайте... Тут вот сушеные грибы. Это Степану Степановичу – он любит. Ты тоже поживешь у Ермакова первое время, у него большая квартира.

Настя слушала внимательно, морща лоб и стараясь запомнить все, как еще недавно слушала Антонину Николаевну на уроках литературы. Было приятно, что ей поручают заботу об Игоре. И не кто-нибудь – его мать. Настя будто близким человеком стала в их семье.

Из калитки, с хрустом разжевывая огурец, вышел кучер. За ним Булгаков.

– Так ты того, вернешься – зайди, – говорил он. – Расскажешь обстоятельно, как и что.

– Можешь не сумлеваться, Григорь Митрич. У меня на станции дежурный – свой человек.

– Все же зайди.

– Это как водится... Ну, где же пассажир ваш?

– В самом деле, где же он? – спохватилась Антонина Николаевна. – Мама, не видела?..

Игорь в это время шел по саду вслед за хмурым и молчаливым Славкой. Братишка вел его в дальний конец, в малинник. Игорь мысленно прощался с деревьями, со старой беседкой.

В саду чувствовалось уже приближение осени: поблекла трава, меньше было цветов. Созревала рябина. Ее красные гроздья ярко пылали среди начинающей желтеть листвы. На солнцепеке было жарко, а в тени держалась прохлада. Долго не высыхала теплая августовская роса.

– Зачем ты позвал меня? – спросил Игорь.

– Узнаешь. – На лице Славки – таинственное выражение. – Сюда иди.

В зарослях малины – старая груша с сухой, без листьев, вершиной. Славка напнулся, отодвинул камень. Открылось дупло возле самых корней.

– Это мой склад... Не говорил раньше, а теперь все равно.

Славка достал из дупла газетный сверток, перевязанный крест-накрест тонким шнурком.

– Что тут? – удивился Игорь.

– Сам посмотри, тебе это.

– Что за чертовщина!

Игорь развернул газету. Под ней – большой конверт из плотной серой бумаги. Торопливо разорвал его.

Носовые платки, штук шесть или восемь, аккуратно сложенные, лежали в конверте. И на уголке каждого вышита буква «Б». Игорь пошарил в пакете, нет ли записки. Ее не было. Хотел прижать платок к горячей щеке, но постеснялся при Славке, сунул в карман.

– Она... сама приходила?

– А то кто же...

– Ну и оказала что-нибудь?

– Нет, ничего... Хотела конфету дать, а я не взял, не маленький, – торопясь, рассказывал Славка. Напускная таинственность и серьезность слетели с него, прорвалось то, что хранил в себе со вчерашнего дня. – Мы за садом в «чижика» играли. А она все ходила и ходила мимо. В белом платье и косы вот так вокруг головы, как обручи... Потом я хотел через забор лезть, а она позвала. Говорит, передай вот это Игорю, но не сейчас, а обязательно завтра, перед отъездом. И просила, чтобы я не сказал от кого.

– И ты молчал?

– Что же я, трепач, да? Слово ведь дал. И потом еще она волновалась очень, прямо даже жалко. Все время воротник тербила.

– Поди ближе, – позвал Игорь, садясь на траву.

Подтянув Славку к себе, усадил рядом, долго смотрел в его веснушчатое лицо, гладил колючие короткие волосы. Славка присмирел, прижался плечом.

– Ты сходи к ней, – попросил Игорь. – Скажи спасибо. И еще окажи, что всегда помню. Ладно?

– Ладно, – вздохнул Славка. – Только ты и про нас помни: и про меня, и про Людку.

– На каникулы скоро приеду.

– Да, скоро! После второй четверти... Слышишь, зовут тебя.

– Иго-о-орь! Иго-о-орь! – несясь со двора голос Антонины Николаевны.

Сразу за городом тележку обогнала грузовая автомашина. Спустилась вниз, к пересохшей речонке, поднялась по косогору и скрылась за горизонтом, а над дорогой долго еще клубились плотные тучи пыли. Она забивалась в нос, от нее першило в горле. Относимая ветерком, пыль медленно оседала на буром поле созревающего овса.

Игорь лежал, уткнувшись лицом в сено, сладко пахнувшее клевером, слушал мягкое шлепанье лошадиных копыт. Было немного неловко перед кучером: хотел проститься со своими по-мужски, с веселой шуткой, но, когда целовал мать, не выдержал, выступили на глазах слезы.

Настя сидела на краю тележки, свесив ноги, задумчиво улыбалась чему-то своему. Потом вдруг сказала сокрушенно:

– Ой, ведь помидоры-то забыла я! Так и лежат на окне.

– Обойдешься. Когда в дальний путь едешь, всегда что-нибудь забудешь, – отозвался кучер.

Серая кобылка бежала бодро, не в тягость была ей, застоявшейся в конюшне, легкая повозка.

– Игорь! – Девушка склонилась к его уху.

– Ну?

– А ведь мы едем! – оказала, будто только узнала. – В институт едем! Вместе! – засмеялась она.

Булгаков молча пожал плечами.

На косогор лошадь поднималась шагом. Медленно уползали под колеса тележки рубчатые следы шин, глубоко отпечатавшиеся в серой пыли. Слева тянулось сжатое поле с желтыми скирдами на нем. С другой стороны дороги – лазурный посев льна-долгунца.

Когда кончился подъем, кучер остановил лошадь возле дерева, одиноко торчавшего на взгорье. Достал из кармана кисет, обернулся.

– Ну, ребята, смотрите на город. Последний раз.

Тут наши одуевские всегда прощаются, ежели уезжают куда.

Игорь и Настя прыгнули с тележки. Видна была только верхняя, ближняя к ним часть города. В разливе садов выступали красные пятна крыш. Высоко в небо врезалась тонкая колокольня Георгиевской церкви.

Милый маленький городок, с немощеными улицами, с кривыми переулками и деревянными домами! Сколько связано с тобой! Вон с той горы в детстве катался на санках. Десять лет, сперва с сумкой, а потом со старым маминым портфелем ходил в школу, белая стена которой едва замени а сейчас издалека. И уже не различишь тот сад, где встречался с любимой девушкой, не разыщешь глазами свой дом. Там, в городе, остались родные, остались друзья.

Еще утром все это было настоящее. А теперь это прошлое, отодвинувшееся назад. И возврата к прошлому не будет. Если и приедешь сюда, то уже совсем другим человеком...

– Ну, хватит, ребята, ехать пора, – позвал кучер. – Поезд не лошадь, ждать не будет.

Игорь словно очнулся, сбросил задумчивое оцепенение и с удивлением заметил, что держит в своей руке руку Насти. И отпускать ее руку ему не хотелось.

– Поезжайте, мы пройдем немного! – крикнул он.

Пошли по обочине, по пропыленному, прижавшемуся к земле подорожнику. Начался спуск. Вершина кособога обрезала горизонт позади, будто стеной отделила их от городка. Зато впереди далеко-далеко видна была дорога. Она бежала серой лентой среди полей, петляла, сворачивала то вправо, то влево, скрывалась в оврагах и вновь выбегала из них.

Старая, тысячелетняя дорога, исхоженная неисчислимыми ногами, истоптанная неисчислимыми копытами, убегала вперед и скрывалась в голубоватой туманной дымке. Многие, многие люди прошли по ней, узнали, куда уводит она. Но каждый когда-то выходил на нее первый раз, и каждому представлялась она новой и бесконечной, манила и пугала неизвестностью, звала узнать, что есть там, за далекой чертой горизонта.

Часть вторая

На станцию выгрузки эшелон прибыл холодным и хмурым октябрьским утром. Паровоз, загнавший в тупик красные теплушки, выпустил из-под колес струю пара, вздохнул облегченно и медленно отошел, исчез в предрассветной мгле. На насыпи стояли люди в серых шинелях. Раздавались резкие, повелительные крики.

– Выходи строиться!

– Живей!

– Поторапливайтесь!

Новобранцы вылезали неохотно, жаль было расставаться с обжитыми местами на нарах. Вагоны – последние, что соединяло с домом. Садись в эти вагоны в родных краях, возле «них прощались с девушками и с матерями.

Полусонные ребята дрожали от холода, запахивали плотней старенькие пиджаки, драные ватники. Обувь у всех изношенная, дырявая. Уезжая из дому, знали – придется бросать, когда дадут форму.

В седьмом вагоне хорошо одеты только трое. Виктор Дьяконский в сером демисезонном пальто, в крепких ботинках – шел на призыв, как на праздник. Сашка Фокин поддержал компанию – надел полушубок, новые брюки. Втайне рассчитывал переслать после переобмундирования вещи домой – пригодятся младшим братишкам.

Лешку Карасева привезли на сборный пункт друзья-трактористы. Лихо подкатали на тройке с бубенцами, кучей вывалились из тарантаса. Лешка сразу рванул гармонь, подвыпившие парни пошли в пляс. Директор МТС, тоже приехавший проводить лучшего тракториста, хотел отвезти Карасева на станцию в своей «эмке», но военком не разрешил. Лешка как был в новехоньких щегольских сапожках, в костюме, в галстук и с цветком в петлице, так и стал в строй. Закинул за спину гармонь, сдвинул на затылок фуражку, подмигнул Фокину и крикнул: «Пошли, что ли!»

Карасев и Дьяконский попали в один вагон, но всю дорогу не разговаривали, будто и не замечали друг друга.

Утренние сумерки редели, отодвигалась туманная мгла. Четче обозначались голые деревья, домики с островерхими крышами.

Дьяконский стоял на правом фланге, терпеливо ожидая конца построения, пытался понять, куда приехали. Сашка прятал за его спиной от ветра посиневшее лицо, похлопывал руками по бедрам, ворчал:

– Охота им было в такую рань... Самый сон теперь. Эх, жизнь!

Лешка Карасев окликнул стоявшего в стороне сержанта.

– Эй, начальник, что за город?

– Отставить разговоры! – оборвал тот.

– Тайна, что ли? Все равно узнаем.

– Пр-рекратить!

– Вот пес! – обозлился Лешка.

– Замолчи, рыжий! – шикнули на него.

– Равняйся! – крикнул сержант, натягивая на левую руку перчатку. Ребята подтянулись, подняли с земли фанерные чемоданчики, вещевые мешки. – Смирно! Нале-е-во! Шагом марш!

Новобранцы недружно затопали по подмерзшей земле. Миновав какие-то склады, колонна свернула на широкую улицу. Ребята с интересом смотрели под ноги: больно уж чудная была тут мостовая. Строгими рядами, притертые одна к другой, лежали плитки из черных плоских камней, скрепленных бетоном в одинаковые шестигранники. Отшлифованные вре-

менем камни тускло и влажно блестели, идти по ним было скользко. На тротуарах валялась кожа каштанов. Ветер гнал желтые листья.

У подъезда старинного двухэтажного здания – рессорная пролетка с черным верхом. На высоких козлах, спрятав в воротник пальто седую бороду, надвинув на уши шляпу-цилиндр, дремал извозчик. Под мышкой у него торчал кнут. Когда колонна поравнялась с пролеткой, извозчик встрепенулся, стащил с головы цилиндр, спросил, поклонившись:

– Пан офицер, не желаете?..

Капитан, шагавший по тротуару, махнул рукой и отвернулся, прикуривая.

– Гляди, чудо какое! – дивились новобранцы.

– Фаэтон-то еще при царе Горохе сработан.

– Ну и завезли нас!

Поравнявшись с извозчиком, Виктор спросил негромко:

– Что за город, товарищ? Извозчик свесился с козел.

– Це Брест. Брест-Литовский.

– Ого! – удивился Виктор.

Сашка толкнул его в бок.

– Где это?

– Самая граница. За Бугом – немцы.

Колонна растянулась, сержанты покрикивали, подгоняли людей. Уже совсем рассвело, и на улицах появились прохожие.

– Ты гляди, гляди, Витька, – вертел головой Фокин. – У нас на весь район один директор сушзавода шляпу носит, а тут все мужики в шляпах. Где рабочий, где начальство – не разберешь.

– Ну, мода такая.

– Странная мода-то.

Миновав полосатый шлагбаум, колонна вышла на берег неширокой речки. Оправа высилась насыпанные холмы земляных укреплений. Впереди показалось длинное здание из красного кирпича. Это стояло на самом берегу и все целиком, сверху донизу, отражалось в тихой, сонной воде.

– Стой! – раздалась команда. – Можно сидеть, курить. С мест не сходить!

– А как насчет малой нужды? – сунулся вперед Лешка Карасев.

– Чего? – не разобрал сержант.

– До ветру бы...

– Ждать!

– Вот она, солдатская служба, – крикнул Лешка. – Начинаются дни золотые...

– А ты в карман, – посоветовал кто-то.

Кругом засмеялись.

Перевоплощение новобранцев началось в предбаннике, где орудовали машинками и ножницами десятка два красноармейцев-парикмахеров в белых халатах поверх гимнастеров. Они молниеносно, деловито стригли под «ноль» притихших парней. В одну минуту ловкач-парикмахер равнодушно снял роскошный рыжий чуб Карасева. Лешка сразу как-то потускнел, насупился, молча побрел в раздевалку.

В бане – густое, сизое облако пара. Ноги скользят по деревянному решетчатому настилу. Гомон голосов, крики, стук жестяных тазиков. Кому-то мыло попало в глаза, он топчется возле крана, плещет в лицо ледяной водой, от холодных брызг с руганью шарахаются ребята.

Сержант в раздевалке следил, чтобы мыться шли нагишом, ничего не брали с собой. Но Карасев умудрился пронести кисет. Вокруг сгрудились парни, курили. Лешка рассказывал:

– После бани укол делают. Болеть будет. Лучше высосать сразу...

– В спину ведь, как высосешь?

– А друг другу. Ты мне – я тебе.

– Саша, ты знаешь, из чего прививка от сыпного тифа делается? – громко сказал Дьяконский.

– Не слышал.

– Разводят особых вшей, белокурых таких. И название у них поэтическое – «нимфы». Этих самых «нимф» заражают тифом. Потом специально обрабатывают, высушивают, кажется, толкут и делают настойку, которую людям вспрыскивают.

Ребята повернулись от Лешки к Виктору, молча слушали его. Дьяконского уважали за ученость.

– Тьфу, а ведь мы сосватались было.

– Ты наговоришь, рыжий.

– Ну, не сосать, выдавить можно, – не сдавался Карасев.

– И выдавливать ни к чему. Поболит день, зато тиф не схватишь.

– Это кто как желает, – примирительно сказал Лешка, чувствуя, что Дьяконский убедил ребят. Поколебавшись, впервые за все время прямо обратился к Виктору. – Махорки хочешь? Или ты на папиросах воспитан?

– Закурю, – спокойно ответил Дьяконский.

Осторожно ступая длинными, худыми ногами по скользким доскам, подошел к трактористу, сел рядом. Кожа у Лешки белая-белая, будто никогда не трогал ее загар. На покатых сильных плечах – густая россыпь красных веснушек. С хитрецей глядя на Виктора, Карасев спросил:

– Злишься все?

– Мне злиться нечего. Блинохватов не люблю, которые среди девчат и ребяташек смелые, похабников тоже...

– Похабник и блинохват это я? – скривился Лешка.

– Понимай как хочешь.

– Эх, Дьяковский! Я думал – хватит собачиться нам. Из-за пустяка погрызлись тогда. А теперь одну лямку тянуть будем. По-хорошему хотел, как с земляком.

– А я по-плохому? Выкладываю начистоту, а не желаешь – не слушай.

– Может, извинения у тебя просить? – прищурился Лешка.

– Опять же твое дело. Хорошо хоть, что ты до такой мысли дошел.

– Катись-ка ты, знаешь... – разозлился Карасев.

Виктор улыбнулся:

– Махорку-то вернуть, что ли?

– Кури, черт длинный, – тряхнул головой Карасев, забыв, что нет на ней чуба. – Кури. Ведь земляк все-таки.

Сержант предупредил – время кончается, через десять минут впустят следующую партию. Баня начала быстро пустеть. Красные, распаренные выбегали ребята в соседнее помещение с деревянными лавками возле стен, пропахшее дегтем, карболкой и еще чем-то непонятным.

Старшины выдавали обмундирование: один – нижнее белье, другой – штаны, третий – шинели. Собрав в охапку амуницию, ребята рассаживались на лавках, примеряли, обменивались вещами.

– Товарищ командир, сапоги жмут!

– Гля, рубаха-то до колен!

– Гимнастерка называется, тюря!

– Подштанники больно здоровы. Эй, Филюшкин, махнемся давай!

– Сам носи. Небось не вывалишься.

Когда, наконец, после споров и перебранки оделись, все стали очень похожими друг на друга. Еще час назад каждого можно было узнать по одежде, по прическе, определить: городской он или деревенский. Даже в бане отличались один от другого. У того ноги толстые да короткие, у этого грудь в волосах. А теперь все одинаково: стриженные затылки да зеленые гимнастерки.

Сашка Фокин, пытаясь, натянул на туго закрученную портянку сапог, притопнул каблуком. Получилось тюtelька в тюtelьку: не болтается и не жмет. Довольный Сашка поднялся, ища глазами Дьяконского, крикнул громко:

– Витя!

Высокий красноармеец, стоявший к нему спиной, круто повернулся.

– Ты чего?

– Не узнал, ей-богу. А ну, pilotку надень... Здорово! В Одоев бы заявиться таким, а? Ты ее на бровь, на бровь сдвинь!

Ребята вертелись перед зеркалом, с интересом разглядывали себя. Ремни затягивали так, что трудно было дышать. И хотя на многих форма сидела мешковато, пузырились на спинах гимнастерки, новобранцам казалось, что они стали уже настоящими красноармейцами.

В июле, как только кончились экзамены в школе, Виктор собрал документы и отправил в Москву, в пехотное училище. Знал, что не примут его, а все-таки послал. Теплилась в нем подспудная надежда. В автобиографии написал все, ничего не скрывая. Отказ пришел через месяц.

Особого огорчения Виктор не испытал. Знал, что в армию попадет, призовут на действительную службу. Обидно было только то, что Пашка Ракохруст, которому все равно, где учиться, уехал к родственнику в Минск и там легко поступил в военное училище.

Стрелковая дивизия, куда попали одоевские ребята, дислоцировалась в Брестской крепости, построенной русскими инженерами на границе вскоре после похода Наполеона. Крепость стояла на четырех островах, омываемых водами широкого Буга и его притока – речонки Мухавец. За давностью лет многие укрепления разрушились, заросли бурьяном. Некоторые форты были взорваны еще летом 1915 года при наступлении немцев. Вокруг Центрального острова тянулось двухэтажное здание казарм из красного кирпича. Эти казармы, имевшие пятьсот казематов, вмещали большое количество людей. В подвалах под казематами хранились боеприпасы и продовольствие. Здание было приспособлено к обороне; в полутораметровых стенах пробиты узкие бойницы для стрелков и пулеметчиков.

Через арочные ворота в кольцевом здании казарм можно было по трем мостам перейти на три других острова, где находились дома комсостава, большой госпиталь, вспомогательные службы.

Молодые красноармейцы с трудом привыкали к мрачным казармам старинной цитадели. По ночам, в темноте, Виктору Дьяконскому казалось, что он лежит в замурованном склепе; почти физически ощущал он давящую, гнетущую силу стен и массивного потолка.

День начинался с команды дежурного по роте:

– Подъем!

Отделялись от подушек стриженные головы, взмetyвались одеяла, мелькали босые ноги. С полужакрытыми глазами, не оторвавшись еще окончательно от мирных домашних снов, ребята на ощупь хватали штаны, наматывали портянки – опешили, боясь опоздать в строй.

Виктор просыпался за несколько минут до подъема: чутким ухом слышал, как подходит дневальный будить командира отделения. Лежал с закрытыми глазами, ожидая сигнала. А вскочив, первым делом сдергивал одеяло с Сашки: у Фокина сон был мертвецкий.

После гимнастики и завтрака начинались занятия.

Командир взвода лейтенант Бесстужев, этой весной окончивший военное училище, был всего года на три старше красноармейцев. На плацу, в командирской шинели, в фуражке с крас-

ным околышем, он еще похож был на начальника. В казарме же только по широкому ремню да по кубикам на отложном вороте гимнастерки можно было отличить его от рядового бойца. Белые волосы лейтенанта пострижены ежиком, голос по-мальчишески ломался. Ко всему прочему Бесстужев первое время смущался и краснел так, что Виктору становилось даже неловко за него.

Лейтенант не кричал, не повышал голос, а когда отдавал приказания, обязательно спрашивал:

– Вы меня поняли? Уяснили?

Виктор хорошо знал уставы, но знания свои не выказывал. На занятиях садился в уголок, подальше от командира. Спрашивали – отвечал. Не вызывали – помалкивал.

Иногда приходил ротный, капитан Патлюк, высокий, чернявый красавец в синих щегольских галифе, в скрипучей портупее. На плоском широком лице – веселые глаза, рот всегда приоткрыт в улыбке, видны мелкие острые зубы. Подтянутый, с тонкой осиной талией, он держался прямо, ходил строевым шагом. Взмах рук – как на параде: вперед до бляхи, назад – до отказа. Если показывал ружейные приемы, винтовка летала у него как игрушечная, будто и не весила четыре с половиной килограмма. Лихо умел капитан делать повороты, щелкая каблуками сапог; четким движением вскидывал руку, козырял по-особому, резко расправляя у виска сжатые в кулак пальцы. И все это быстро, весело, с улыбкой. Красноармейцы восхищались бравым капитаном, и после его ухода скучными казались занятия Бесстужева.

Однажды во второй половине дня, когда за окнами стусились ранние декабрьские сумерки, а в казарме зажглись электрические лампочки в проволочных колпаках, взвод Бесстужева изучал Устав караульной службы.

– Носов! – вызвал лейтенант.

– Я! – вскочил длинный, нескладный красноармеец с большими оттопыренными ушами.

– Вы на посту. Ночь. Слышите шаги. Ваши действия?

– Кричу: стой!

– Только не кричу. Командую: стой, кто идет?

– Стой, кто идет? – повторил Носов.

– Вам ответили: разводящий со сменой.

– Ну, скажу, чтобы разводящий подошел, а остальные подождали.

– Вы очень вежливый человек, Носов! Смысл ответа верен. Но в уставе есть четкая формулировка. Ее надо запомнить твердо. Фокин!

– Я!

– Как надо скомандовать?

– Разводящему идти, остальным стоять.

– Дьяконский!

– Разводящий ко мне, остальные на месте.

– Вот так, – кивнул Бесстужев.

На его румянном лице задвигались брови: вверх, вниз, вверх, гармошкой собирая кожу на лбу.

– Повторите, Фокин.

Сашка не успел ответить. Лейтенант скомандовал:

– Встать! Смирно!

– Отставить, отставить, – махнул рукой подошедший Патлюк. – Садитесь, товарищи. Что, орлы, словесные крепостя берем?

– Учимся, товарищ капитан.

– Учитесь или мучитесь? – подмигнул Патлюк. – Дело невеселое, по себе знаю.

– Да, уж это не у тещи на блинах, – заявил Карасев, рыжая голова которого красовалась в первом ряду.

– Не у тещи, орлы, верно. А учить надо. В нашем деле без устава ни шагу не сделаешь. И начальство требует.

Виктор видел, как чуть заметно поморщился Бесстужев. Или завидовал он капитану, умевшему запросто говорить с людьми, или не нравился ему панибратский тон ротного?

Красноармейцы были рады капитану. Все празднично блестело на нем, пуговицы и сапоги, глаза и зубы. Свежевыбритый, пахнувший духами, он приходил из того свободного мира, где были девушки, танцы, кино, где не нужно было соблюдать распорядок дня, думать о взаимодействии частей затвора...

– Ну, посмотрим, чему вы научились, – сказал Патлюк, и красноармейцы сразу перестали улыбаться. Отвечать самому ротному – это не шутка.

– Вот вы, – икнул пальцем капитан.

– Красноармеец Карасев.

– Какое первое действие бойца при команде «чистить винтовки»?

– Сперва вынимаю затвор, потом шомпол.

– А самое первое?

– Затвор, – уверенно сказал Карасев.

– Я учил их именно так, – задвигал бровями Бесстужев.

Капитан сделал жест рукой: помолчите. Ноздри у Патлюка раздувались, он с трудом сдерживал смех.

– Не знаете, Карасев?

– Никак нет, товарищ капитан.

– Тогда слушайте. Как возьмешь винтовку из пирамиды, первое действие – на номер взгляни, твой или нет. А для чего это надо? Чтобы не вычистить винтовку ленивого соседа. Ясно?

– Ясно, – сказал Карасев, а по голосу чувствовалось: не понял шутки.

– Садитесь... Ну, еще всем вопрос. Что делает часовой, когда на штык его винтовки садится воробей?

Эта загадка была с седой бородой. Ее задавали, наверное, еще суворовским гренадерам. Виктор не мог промолчать – хотелось поддержать честь своего взвода:

– Часовой спит.

– А разве положено спать на посту?

– Это, товарищ капитан, вопрос для школьников, – голос Виктора прозвучал сухо и резко. В самом деле, дурачками, что ли, считает их ротный?

С лица Патлюка медленно сошла улыбка. Пристально, изучающим взглядом смотрел он на красноармейца. Капитан уже заметил этого бойца. На нем ладно, как на старослужащем, сидела гимнастерка, и выглядел он старше своих товарищей. Патлюк привык видеть молодых красноармейцев робеющими перед командиром. Он любил говорить с ними так, чтобы они ловили каждое слово, смотрели ему в рот. Капитану было лестно сознавать, что он, бывший счетовод, окончивший пять классов, распоряжается студентами, техниками, бухгалтерами, не говоря уже о колхозных парнях. На гражданке Патлюк был бы незаметным человеком среди них, а здесь он пользовался уважением, его побаивались. А этот высокий красноармеец с выпяченным вперед подбородком без всякой робости смотрел ему прямо в глаза, и капитану казалось, что боец вот-вот усмехнется.

– Ваша фамилия?

– Красноармеец Дьяконский.

– Я вас спрашиваю, а не школьника: положено часовому спать на посту?

– Не положено.

– Вот так надо отвечать. Коротко, без штатской болтовни... Лейтенант Бесстужев!

– Слушаю.

– Обратите внимание на четкость ответов. Продолжайте занятия.

«Обиделся он, что ли?» – думал Виктор, глядя в спину удаляющемуся Патлюку.

Вечером, в свободный час, красноармейцы занимались своими делами: подшивали подворотнички, чистили пуговицы, писали письма. В ленинской комнате полно народу. За длинным столом сидели любители чтения, листали газеты, журналы. В углу на диване человек пять плотно сдвинулись возле Карасева, разговаривали потихоньку, чтобы не мешать другим. Виктор, решавший шахматную задачу, слышал шепот Лешки.

– Не выдумываю, сам видел. На побудке. Все уже в строю стоят, а он дрыхнет. Дневальный хват за одеяло: «Фокин, подъем!» А Сашка и не чешется. Перевернулся на другой бок и храпит. Ну, тут дежурный к нему: «Фокин, такой-сякой, вставай!» А Сашка ногой брык. Ему, ребята, может, снится, как он с Анькой в лопухах обнимается. Обоиими руками подушку облапил и сопит. Ну, старшина Черновод видит, что на всю роту позор – сам за него взялся. Раз! – одеяло долой и как рывкнет: «Тревога!»

– Не брешь, – сказал Фокин. – Дежурный меня поднял, а не старшина.

– Ты же не помнишь, спал.

– Молчи, Саша. Принимай критику.

– Да! Старшина, значит, командует тревогу, и одеяло с него долой. А Фокин перевернулся на другой бок и опять слит. Тогда я говорю: «Товарищ старшина, его не так будить надо». – «А как?» – «Разрешите мне», – «Валей!»

– Черновод так не скажет.

– Вроде этого... Я, значит, подошел к Фокину, нагнулся и говорю потихоньку: «Сашка, обед!» Он как вскинется, чуть меня не сбил. Глазами спросонок лупает: «Где мой котелок? Куда бежать?»

– Ну и здоров ты муку молоть, – добродушно ворчал Фокин.

– Тише, жеребцы, почитать дайте, – крикнул от стола Носов.

– А ты вухи заткни, – посоветовал кто-то. – Хошь, паклю дам?

– На его уши по пуду надо.

– Га-а-а!

Носов с грохотом отодвинул стул.

– Вот доложу политруку про ваш балаган...

– Брось, – примирительно сказал Фокин. – Ну, пошутили, и все.

– Каждый раз так!

Носов вышел. В комнате наступила тишина.

– Политрука нет, кажется, – неуверенно произнес Фокин.

– Темную надо Носову... Доносчик, гад, – выругался Карасев. – Я ему, стерве, ноги по вырываю и спички вставляю.

– Не горячись, Алексей, – предупредил Дьяконский. – Не болтай лишнего.

Дверь распахнулась. Появился лейтенант Бесстужев. За его спиной маячила стриженная, с оттопыренными ушами голова Носова.

– Товарищи, шумно у вас здесь, – сказал Бесстужев.

Красноармейцы заулыбались. Лейтенант – не грозный политрук, разноса не будет.

– Надо мной смеются, – объяснил Фомин. – Я подъем проспал.

– Плакать надо!

– Плачем, товарищ лейтенант, когда наряд отбываем.

Бесстужев помолчал, подвигал бровями.

– Любители поговорить – в курилку. А здесь чтобы тихо было. Садитесь, Носов, вам не помешают.

Ленинская комната наполовину опустела. Лейтенант остановился возле Дьяконского.

– Хотите партию?

– Давайте попробуем.

Виктор дважды получил мат. Неудача не огорчила его. Лейтенант играл явно лучше. Было интересно наблюдать, как Бесстужев обдумывает ход. Опершись локтями о стол, он смешно морщил лоб, двигая редкими белесыми бровями. Румяный, с белым пушком над верхней губой, Бесстужев похож был на юношу-десятиклассника. «Хороший он парень, наверно», – подумал Виктор и спросил:

– Товарищ лейтенант, почему вы волосы не отращиваете?

Бесстужев удивленно посмотрел на него, провел рукой по голове.

– Не хочу. Стриженная голова – чистая голова: ни забот, ни хлопот. Раз в месяц под машинку – и все.

– Девушкам прически нравятся. Такие чубы, как у нашего командира роты.

– Полюби меня стриженным, а с прической всякая полюбит, – улыбнулся Бесстужев, фразировав поговорку. И тихо добавил: – Кстати, Дьяконский, капитан не любит шуток на занятиях.

– Мне показалось – наоборот. Впрочем, спасибо, товарищ лейтенант. Я буду знать.

– Прекрасно... А ведь вам снова мат. Вы давно, видимо, не играли... И знаете, в чем ваша главная ошибка? Виктор отрицательно качнул головой.

– Есть, Дьяконский, такой закон: не начинай наступления, пока не имеешь хорошей обороны. Вы трижды атаковали. Бурно, смело. И это правильно. Однако все три раза вы не рокировали короля, и мне удавалось прорываться в ваш тыл.

– Рокировка обязательна?

– Почти всегда. Противник переходит в контратаку, и его надо встретить на заранее подготовленных рубежах.

– А вот Гудериан не так пишет.

– Вы читали его книгу «Ахтунг! Панцер!»? – с любопытством посмотрел Бесстужев.

– Книгу не читал. Но у нас дома были немецкие военные журналы. Сестра переводила, она хорошо знает язык. В этих журналах печатались статьи Гудериана.

– Его теория мне знакома. – У лейтенанта поползли вверх белесые брови. – Он ратует за массированное использование бронетанковых сил. Прорвать линию фронта, окружить противника, смять, подавить, пленить.

– Теория оправдала себя в Польше и во Франции.

– Там люди жили воспоминаниями об окопной войне четырнадцатого – восемнадцатого годов. А мы противопоставим врагу прочную линейную оборону с крупным резервом танков в глубине... Слушайте, Дьяконский, а у вас нет желания сделаться командиром? Человек вы грамотный, служба дается легко...

Виктор нахмурился, спросил холодно:

– Вы помните эпиграф к первой главе «Капитанской дочки»?

– Нет.

– Посмотрите, если не лень. – Виктор поднялся. – Разрешите идти? Сейчас начнется проверка.

– Пожалуйста, – ответил лейтенант, недоумевая, почему так сразу изменилось настроение Дьяконского.

* * *

Вступительный экзамен по истории Игорь сдал на «отлично». Старенький, лысый преподаватель в коричневом костюме-тройке, с галстуком-бабочкой, уныло слушавший школярские ответы экзаменующихся, оживился, когда принялся рассказывать Булгаков. Игорь говорил о

скифах. Сразу начал с того, чего нет в школьных учебниках. Заметив, что старичку это понравилось, продолжал увереннее.

– Одну минуточку, – прервал преподаватель, – Вы читали Геродота?

– Да. У нас в районной библиотеке есть экземпляр. Еще при царе напечатан...

– Послушайте, товарищ... – Преподаватель поднес к глазам экзаменационный лист... – товарищ Булгаков, давно вы решили пойти на наш факультет?

– Года три назад.

– Что же, это весьма солидный срок. Отрадно, молодой человек, очень отрадно. – Старичок улыбался, потирая маленькие, морщинистые руки, глаза блестели под стеклами очков. – Ну-с, что еще у вас там?

– Второй поход Антанты, – с готовностью выпалил Игорь. – Можно отвечать?

– Не надо, не надо, – остановил его преподаватель. – Скажите мне лучше, кто командовал засадным полком в Куликовской битве?

– Воевода Волынский Боброк.

– Альпийский поход Суворова?

– Тысяча семьсот девяносто девятый.

– Достаточно. Я с удовольствием побеседовал бы с вами, но меня ждут другие. – Расчувствовавшийся старичок пожал руку Игоря.

А через три дня в той же самой аудитории Булгаков провалился на экзамене по литературе. Надо было рассказать о романе «Пролог» Чернышевского. Книгу Булгаков не читал. Сидел, вспоминая с натугой, что и когда слышал о ней. Пошел отвечать с таким чувством, будто грозила ему позорная казнь.

Преподаватель попросил назвать фамилии главных героев. И тут Игорь умолк. Понял: теперь все пропало. Под мышками выступил холодный пот.

– Не знаете, – жестко констатировал преподаватель. – Ну, а Короленко вы читали?

– Конечно, читал!

– Что именно?

Игорь с ужасом обнаружил, что не может вспомнить ни одного названия.

– «Гуттаперчевый мальчик», – пробормотал он.

Сзади кто-то прыснул.

Из университета ушел сразу, не отвечая на вопросы товарищей, бросившихся к нему в коридоре. Засунув руки в карманы, быстро шагал по улице, ничего не видя перед собой, толкая прохожих. Бормотал бессмысленно: «Подумаешь, тоже мне выискался!»

Опомнился только на площади Революции. Остановился возле большого черного чана, под которым горел огонь. Противно пахло паленым. Рабочий железным ломом мешал в чане полужидкую массу асфальта. По ровной обширной площади с фонтаном посередине ветер гнал клочки бумаги, цветные обертки конфет. Гомон толпы, гудки автомашин, трамвайные звонки и визг тормозов – все это сливалось в дикий хаос звуков.

«Как тут живут люди? Это же ад!» – думал Игорь.

Он побрел к Охотному ряду. Шел уже седьмой час, а в шесть его ждала Настя возле Дома союзов. Увидел ее издали: она торопливо пробиралась навстречу через толпу.

– Ну? – тревожно заглянула она в глаза Игоря.

Он безнадежно махнул рукой.

– Надо укладывать чемодан. Срезался.

– А я?

– Будешь учиться. Сдала ведь?

– Сдала.

– Ну и радуйся.

– Как радоваться, как же одна я?

– Подумаешь. Все одни. Дай при рубля, в пивную пойду.

– Не пущу.

Настя цепко держала его за рукав. Но Игорь, пожалуй, и сам не ушел бы сейчас от нее. С ней было легче.

– А пересдать нельзя? – опросила она.

– Шапку ломать перед фертом этим не буду.

– Ну, ладно. Конфету возьми вот. «Мишка на севере», – оказала Настя. – Бери две. А я уже одну съела, не выдержала.

– Что это шикаешь сегодня? Наследство получила?

– Думала, дань праздничный будет.

Дорогой Настя убеждала его не уезжать, походить по институтам, может, недобор где-нибудь. Или на вечернее поступить, а днем работать. Игорь согласился пожить в Москве, пока есть деньги. Дома не очень рады будут его возвращению, спешить некуда.

Стемнело, когда Игорь и Настя вышли к Елоховскому собору, обнесенному чугунной решеткой. Жили они на Бакунинской улице. Старинный трехэтажный дом с лепными украшениями по фасаду принадлежал раньше какому-то князю. Теперь дом заселен был семьями военнослужащих. В квартире полковника Ермакова были четыре просторные комнаты с высокими потолками, кухня и ванная.

Гостям Степан Степанович отвел комнату своего сына, отдохавшего сейчас в Крыму вместе с сестрой. Настя спала на кровати за ширмой. Игорь устраивался на диване.

Ермаков был вдов, и в комнате, как и во всей квартире, чувствовалось отсутствие настоящей хозяйки. Рядом с дорогим шкафом из мореного дуба – канцелярский стол. Стулья разные: и старинные, венские, с гнутыми ножками, и полумягкие, с клеенкой на сиденье, и даже несколько табуреток.

Настя и Игорь имели свой ключ, уходили и приходили, когда хотели. Ермаков возвращался с работы поздно, иногда не появлялся по несколько суток. Теща его, высокая, чопорная старуха, не обращала на ребят внимания, целыми днями валялась в своей комнате на кушетке, читала старинные романы.

Сегодня Степан Степанович был дома, возился на кухне с примусом. В коридоре сильно пахло керосином.

– Вы, ребята? – спросил он. – Вовремя вернулись, сейчас чай пить будем.

– Ели уже, – соврал Игорь.

– Я и не предлагаю есть. Погоняйте чашек, составьте компанию. Посмотри, Настя, в шкафу колбаса была, кажется.

– Сейчас я все соберу, – деловито ответила Настя.

Отнесла в комнату книги, быстро помыла руки. Опросила, смешно морща нос:

– Керосин разлили?

– Есть немного, – сокрушенно вздохнул Ермаков.

– Идите за стол. На кухне мужчинам нечего делать, – командовала девушка, устанавливая на подносе посуду.

Игоря удивляло, как это застенчивая Настя так быстро освоилась здесь. Распоряжается, будто хозяйка.

– Приходится вот самому, – со вздохом сказал Степан Степанович, садясь к обеденному столу. – У нас каждый сам по себе.

Он разминал пальцами папиросу, коричневый табак сыпался на паркет. Дышал тяжело, посяпывая крупным носом с зарослью черных волос в ноздрях. Под пиджамой бугрился полный живот, Вид у Ермакова был нездоровый: обрюзгшие белые щеки изрыты морщинами, на глазах кровавые прожилки.

– Устали, Степан Степанович? – сочувственно спросил Игорь

– Работа сидячая, – рассеянно отозвался Ермаков, роясь в карманах.

Вошла Настя. Поставила посуду, чайник. Вскочив на стул, открыла дверцу буфета, достала колбасу и хлеб. Глядя на ее тонкие руки, быстро орудовавшие ножом, Ермаков произнес:

– Счастливый у тебя муж будет.

– Скажете тоже... – покраснела девушка. – Вам густой чай наливать?

– Нет. Сердце у меня пошаливает.

– Тогда и курить не надо.

– Это уж когда в отставку подам. Осяду в Одуеве, огород разведу. Буду копать потихоньку. А вы иной раз поможете старику.

– Какой вы старик. Пятидесяти еще нет. Просто отдохнуть надо, – посоветовала Настя. – А то ведь вам трудно красноармейцами командовать, да? Я видела вчера: красноармейцы идут строем, а сбоку бежит командир и кричит: «Раз-два! Три-четыре!»

– Я, девочка, все больше бумагами командую у себя на столе. В управлении я. Крыса штабная. А знаешь, как ты чай пьешь? – неожиданно спросил он. – По-купечески пьешь. В старину бывало: сидят купчихи и так это не спеша, вприкуску...

– Горячо очень. – Настя поставила блюдце. – Я и по-другому умею.

– А ты пей, пей. Теперь такое редко увидишь, чтобы блюдце на пальцах. Молодежь чудная пошла, все на бегу, все на ходу. Неля моя одной рукой пальто надевает, в другой кусок держит.

– Говорят, москвичи торопятся потому, что расстояния здесь большие, – вставил Игорь.

– И расстояние, и воспитание. Всюду темпы, темпы. Поспевать трудно. – Степан Степанович поднялся с заскрипевшего стула. – Ну, спасибо, Настя. Пойду к себе, доклад готовить. Ты уж убери здесь.

– Слушай, хозяйка, а не смотаться ли нам в кино? – предложил Игорь.

– Поздно. Десятый ведь.

– Поздно, – согласился он. – И ноги гудят. В Одуеве целый день шатаешься – и хоть бы хны! А тут все пятки отшибешь по асфальту... Письмо написать, что ли?

– Напиши.

У себя в комнате Игорь сел к столу, включил свет. Взял было лист бумаги, но, скомкав, швырнул в угол. О чем писать? Что на экзамене провалился?

Плохое настроение адова овладело им. Он сбросил ботинки, минул на стул пиджак и повалился на диван. Заложив за голову руки, смотрел на побеленный потолок, усеянный мухами.

Вошла Настя, на ходу вытирая полотенцем руки. У себя за ширмой сняла босоножки, нагнулась, доставая тапочки. Больше двух недель жили они в одной комнате, и Игорь уже изучил все ее привычки. Сейчас она переоденется, потом расчешет волосы.

Так и есть. Она сняла платье, над ширмой видна ее шея с темнеющей ложбинкой, девчоночьи узкие плечи, перехваченные белыми бретельками. Игорю было приятно и немножко обидно, что она не стесняется его. Доверчивость Насти смущала и обезоруживала. Игорь отворачивался даже тогда, когда девушка не просила, опасаясь оскорбить ее любопытным взглядом.

Настя накинула халат, взяла гребень.

– Лубаску помнес, – невнятно произнесла она: держала во рту шпильки.

– Погладить трудно, да?

– Не тлудно. Снимать пливыйкай. Ведь я уйду послезавтра.

– Куда?

– В общежитие.

– Как? – вскочил он.

Настя ответила не сразу. Кончив расчесываться, поправила ладошкой волосы.

– Подвинься. – Она села рядом, забравшись с ногами на диван. – Сегодня комендант сказал, чтобы в общежитие перешла. А то другие койку займут.

Игорь закрыл глаза, представил себе, как будет он здесь один, в этой большой пустой комнате. Остро кольнула тоска.

– Настя! – Он рывком притянул ее к себе, девушка упала лицом в подушку. – Настя, ты поживи немного... Пока не придет этот, Альфред. Ведь и Степан Степанович рад тебе. Ну, Настенька, – тормозил он ее. – Хочешь я с комендантом твоим поговорю?

– Не надо, – улыбнулась она. – Я думала, ты обрадуешься.

– Вот и дура.

– Ну и ладно.

Он зарылся лицом в ее волосы, шепнул, касаясь губами уха:

– Обиделась?

– Нет.

– И правильно. Ведь я и сам дурной.

– Не кайся, – сказала Настя. Расстегнув ворот его рубашки, положила ладошку на плечо Игоря. – Завтра мы с тобой по институтам пойдем, да?

– Ладно. А общежитие?

– Придется переезжать. Займут ведь, – вздохнула девушка.

Она выключила свет и скрылась за ширмой.

Игорь разделся, долго лежал молча. Выкурил две папиросы. На улице изредка, грохоча по мостовой, проезжали автомашины, лучи света скользили по потолку. Дребезжали трамваи. Когда становилось совсем тихо, Игорь, затаив дыхание, прислушивался: спит ли Настя.

Здесь, совсем рядом была девушка, которая любит его. Игорь хорошо знал это. Их разделяла только ширма, но за эту ширму он стеснялся заходить даже днем. Мысль о том, что он может пройти туда сейчас, показалась ему дикой. Он хотел встать и боялся. Спросил шепотом, едва слышно:

– Настя? Ты спишь, Настя?

Она не ответила. Игорь подавил вздох и, натянув на голову одеяло, повернулся лицом к стенке.

Степану Степановичу Ермакову прошлая его жизнь казалась цепью случайностей, иногда смешных, иногда трагических и нелепых. Вырос Ермаков в деревне, с детства привык к крестьянской работе. Был он человеком по натуре мирным и добродушным, к армейской службе никакого призвания не имел. В молодости мечтал обзавестись своим хозяйством, хорошим домом, работающей женой. А вышло все иначе. Сорвала его с места мобилизация 1914 года, и закрутился Степан в вихре событий.

С маршевой ротой попал Ермаков на фронт. Шесть месяцев кормил вшей в окопах, голодал, замерзал в дозорах.

Весной их дивизия перешла в наступление, отбила у немцев несколько деревень. Командир роты поручик Львов, отчаянная голова и страшный выпивоха, решил сам сходить в рекогносцировку. Взял с собой четверых человек, в том числе и Ермакова, Степан в ту пору лихостью среди солдат не выделялся, но силу имел недюжинную, крепок был, как молодой дубок.

Ночью пробрались в разбитую артиллерией деревню на «ничейной» земле, установили, что противник отошел на запад. Возвращаясь обратно на рассвете, разведчики обнаружили в деревне трех немцев. Грязные, оборванные, обросшие щетиной, солдаты развели костер в развалинах церкви и пекли картошку. Сдались они без сопротивления.

Немцев повели с собой. Ермаков нес их оружие. Уже недалеко от окопов разведчики попали под артиллерийский обстрел. Била дальнобойная артиллерия неприятеля. Огромные «чемоданы» с тупим свистом проносились в воздухе.

Снаряд разорвался вблизи. Степан успел броситься в яму, полную воды. А когда поднялся – над глубокой воронкой, как пар, кружился дымок, едко пахло серой.

Пленные, упавшие рядом с Ермаковым, остались живы. А из разведчиков уцелел только Степан, Трое солдат были изуродованы до неузнаваемости. Поручик Львов, хрипя, ворочался на земле. Левый сапог его был отброшен в сторону, из голенища торчала белая кость оторванной ноги.

Обвешанный оружием, Ермаков взвалил на спину судорожно дергающееся тело поручика, крикнул немцам, чтобы шли вперед. Они пошли. Степан удивлялся потом, почему они не убили его и не убежали. Голодным, перепуганным немцам было, видимо, все равно куда идти.

Поручик Львов умер на спине у Степана, но Ермаков все-таки притащил его тело к своим. Принес убитого командира и привел троих пленных – это был подвиг. Степану дали перовую нашивку и георгиевский крест.

Через два месяца Степан с командой пеших разведчиков снял ночью боевое охранение немцев; из шести человек пятерых убили на месте и приволокли одного «языка». В короткой ночной схватке Ермаков получил пулевое ранение в бедро, а после боя, в госпитале, узнал, что награжден вторым «Георгием».

Лечился Степан в Виннице. К нему приезжали корреспонденты, фотографировали его, писали о нем. Потам Ермаков читал в газетах о самом себе – это было интересно. Раньше Степан никогда не думал, что он «русский богатырь» и «человек отчаянной храбрости, перед которым трепещут немцы».

Медицинская сестра Жанна, порывистая и нервная девушка с черными бровями на бледном лице, собирала вырезки из газет в особую папку. Часто по вечерам садилась возле койки Степана, просила рассказать, как он воевал, смотрела на него восторженными глазами. Первое время Ермаков говорил неохотно. Потом привык, стал даже привирать для красоты.

Жанна была человеком другого мира, хрупкой и недоступной, от нее шел непривычный запах духов. Степан тянулся к ней, как к несбыточной красивой мечте.

За четыре месяца в госпитале он раздобыл, отпустил густые усы, закручивал их вверх, как это делал, бывало, поручик Львов.

Из госпиталя вышел новым человеком, не сермягой-солдатом, а унтером. Браво выкатывал грудь с двумя «Георгиями». Ладно сидела на нем форма, сшитая госпитальным портным. Это был подарок начальства герою.

Степан еще прихрамывал, и Жанне доставляло удовольствие ходить с ним по улице. Тоненькая, в косынке с красным крестом, она горделиво шагала рядом, поддерживая его за локоть.

Мать Жанны, московская актриса Милорадова, хотела видеть свою дочь на подмостках сцены. Но дочь поступила по-своему. Она скучала в опустевшей Москве. Кроме того, ей очень шла форма медицинской сестры. Вместе с несколькими подругами она подала прошение об отправке ее в Действующую армию.

Степан испугался, когда понял, что полюбил эту странную девушку. Будь на ее месте другая, он знал бы, как поступить: слава богу, довелось и ему поозорничать с девками в деревне. А к белой и чистой Жанне он не смел прикоснуться грубой, с корявыми пальцами, рукой.

Но все произошло очень просто. Однажды они смотрели в кинематографе новую картину. Жанна вздрагивала, когда показывали что-нибудь страшное, прижималась к Степану. Из кинематографа она вышла раскрасневшаяся, попросила проводить ее в гостиницу, где жила в отдельном номере.

Они послали коридорного в ресторан за ужином и шампанским. Жанна пила поспешно и очень много. Казалось, что ее мучает жажда. Когда опустела вторая бутылка, Жанна сама села на колени к Степану...

Ни тогда, ни позже Ермаков так и не смог понять, почему она, интеллигентная барышня, человек другого круга, сделала это. Была ли тут неожиданно вспыхнувшая любовь или просто каприз избалованной девчонки, преклонение перед выдуманым героем?!

Жанна не скрывала своего романа. Степан жил у нее в комнате. Через начальника госпиталя добились, чтобы Ермакова оставили служить при команде выздоравливающих.

Среди знакомых Жанны Степан чувствовал себя скверно, не знал, как держаться, о чем говорить. Его смущали взгляды подруг Жанны – откровенно любопытные, кокетливые; оскорбляли насмешливые улыбки мужчин.

Счастлив он не был. Даже ночами, среди горячих и необычных ласк, не оставляло его тоскливое предчувствие: все это сон, все это только на время.

Жанна постепенно охладевала к нему. Упрекала, что не читает газет, не умеет танцевать и редко меняет портянки. За обедом морщилась и просила не чавкать.

Однажды усталый, он стаскивал с больной ноги сапог. Нога ныла, сапог подавался с пружинкой. Он кричал, лицо побагровело от натуги. Жанна, забывшись в угол дивана, с удивлением и презрением смотрела на него. Степан, босой, с пыльным сапогом в руке, шагнул к ней, улыбнулся смущенно:

– Ты чего это, а?

Жанна вытянула руки, защищаясь, Крикнула истерично:

– Уйди... мужик... ненавижу!

Выбежала в коридор, хлопнула дверь. Ночевать не пришла. Через неделю сухо объявила ему, что беременна и уезжает в Москву.

– Рожать? – наивно спросил Ермаков.

– Нет. Ребенка не будет, – отрезала она.

Степан провожал ее на извозчике до вокзала. Вею дорогу молчали. Только на перроне она сказала:

– Прощай. И меня не разыскивай. Мы не нужны друг другу.

После ухода поезда Ермаков до потери сознания напился в станционном буфете, очнулся утром в каком-то саду. У него вытащили бумажник с фотографией Жанны, срезали серебряные часы и унесли фуражку. Весь день он провалялся в гостинице на диване с тупой болью в голове, скрипел зубами, проклиная свою разбитую жизнь.

Остаться в Виннице он больше не мог, просил, чтобы отправили на фронт. Попал в артиллерию. В боях некогда было думать, усталость притупляла тоску. Вокруг умирали люди, и сам он мог умереть в любой час. Но Ермаков не боялся смерти, ему теперь было все безразлично. Равнодушно встретил он известие о награждении третьим георгиевским крестом.

Всколыхнула Степана только революция. К этому времени стерлись воспоминания о Жанне, мечты о необычной жизни. Революция дала крестьянам землю. Ермакова потянуло в деревню. Думал справиться избу, встать на хозяйство. В феврале 1918 года он ушел ночью с батареи, пешком добрался до железной дороги.

В Стоялове Ермаков действительно получил земельный надел, но похозяйевать не успел – вскоре мобилизовали в Красную Армию. Побывал Степан на деникинском и на польском фронтах, дрался с ожесточением, мстил тем чистеньким, презиравшим его, к которым ушла Жанна.

Заговоренный был, что ли, Степан – не брала его смерть. В первых колоннах катил он свою пушку через гнилое море Сиваш. В вонючей воде, на опаленной земле Литовского полуострова падали красноармейцы, сраженные пулеметным огнем. С гиканьем бросались в атаку кубанские казачьи сотни. В полку Ермакова из тысячи бойцов после боя только двести осталось в живых. Но ни осколком, ни пулей не зацепило Степана.

Войну закончил командиром батареи. Через два года, когда вступил в партию, его послали учиться в Москву, на курсы. Здесь он снова встретился с Жанной. Сам разыскал ее –

крепко присушила городская барышня мужицкое сердце, две войны не выжгли память о ней. Жанна постарела за это время, желтым, нездоровым стало лицо. Одевалась бедно. Тогда, уехав от Степана, не смогла избавиться от беременности – поздно обратилась к врачу. Родила сына.

Работала Жанна секретарем в какой-то кооперации, денег получала немного, едва сводила концы с концами. Само собой получилось, что Ермаков переехал к ней, в тесную квартиру неподалеку от Савеловского вокзала.

Семья Милорадовых была Степану чужой. Мать Жанны, Евгения Константиновна, чопорная и надменная женщина лет пятидесяти, встретила его неприязненно. Она жила воспоминаниями о добром старом времени, торговала на толкучке поношенными своими платьями, зажелтевшими кружевами. В присутствии Степана говорила об опере, живописи, вспоминала поездку в Италию, старалась подчеркнуть свое превосходство.

Евгения Константиновна занималась воспитанием ребенка. Звали его Альфред, имя выбрала ему бабушка, решившая сделать со временем из внука оперного певца.

Альфред, здоровый, толстощекий мальчуган, был очень похож на Степана, но Ермаков не мог привыкнуть к его имени, к бархатным штанишкам и сольфеджио, которым ежедневно занимался сын.

Евгению Константиновну Степан молча ненавидел, к Альфреду был равнодушен, а Жанну жалел и быстро привык к ней. Она была какой-то прибитой, послушной, ни в чем не перечила ему. Учеба на курсах давалась Ермакову с трудом, Жанна терпеливо занималась с ним математикой, и это еще больше сблизило их.

В 1924 году Жанна родила дочь: Ермаков назвал ее Нинель.

Забрав жену и дочь, Степан Степанович уехал служить в Донбасс, где стояла его старая дивизия. Альфреда бабка оставила у себя, и Ермаков не очень жалел об этом.

Через несколько лет Жанна умерла. Ее в два месяца свалила скоротечная чахотка.

Степан Степанович сам воспитывал Нелю. Девочка росла веселая, смешливая, радовала сердце отца. Всю свою нерастрченную любовь Ермаков перенес на нее.

Иногда приезжал в гости Альфред. Он уже окончил школу. Для отца, как и раньше, он оставался чужим, непонятным. Толстый, близорукий и рассеянный, он был замкнут, серьезно рассуждал о заумных вещах. Читал Ницше, но не мог пришить пуговицу к рубашке. Оперный певец из него не получился, он увлекся математикой.

Время летело. Ермаков медленно продвигался по служебной лестнице. В 1936 году он командовал дивизионом и уже смирился с мыслью, что дальше этой должности не пойдет. Не хватало образования, а учиться было уже поздно. И опять непредвиденный случай изменил его жизнь.

Он был ветераном дивизии, служил в ней со дня формирования. На досуге Степан Степанович занялся составлением истории соединения. Нашелся свой художник. Подыскивали комнату. В ней во всю стену повесили карту, разными красками нанесли боевой путь дивизии. Со слов Степана Степановича художник написал от руки толстый альбом, туда же подклеили сохранившиеся фотографии, газетные вырезки, листовки, приказы.

Ермакову эта работа доставляла удовольствие. Старел, видимо, жил воспоминаниями о прошедших бурных днях.

Очередная инспекция, прибывшая в дивизию из Москвы, учинила строгую проверку. Много обнаружилось недостатков, многим командирам попало на орехи. Зато комната истории соединения инспекции понравилась. Представитель Москвы специально вызвал Ермакова на беседу.

А через несколько месяцев пришел приказ откомандировать Ермакова для работы в Артиллерийском управлении. Степан Степанович переехал в столицу, получил квартиру на Бакунинской улице. Там вместе с ним поселился Альфред, учившийся на физико-математическом факультете университета.

Одну комнату Степан Степанович отдал теще, изрядно постаревшей, но все еще надменной и не смилившейся с новым строем.

Это был 1937 год, трудное время. По утрам, приходя на работу, Ермаков узнавал об арестах. В дивизии, где он раньше служил, был посажен сам командир, начальник штаба и два командира полка. Степана Степановича вызвали в Особый отдел. Молодой следователь с усталыми, бегающими глазками протянул ему лист бумаги и сказал безапелляционно:

– Садитесь и пишите о своем бывшем командире. Какие у вас были подозрения. Учтите, он враг.

– У меня подозрений не было, – тихо сказал Ермаков. – Знаю о нем только хорошее.

Следователь кричал, топал ногами, грозил отправить его в тюрьму. Но Степан Степанович не стал лгать. Пусть тюрьма, побои, даже смерть, но доносчиком он не будет. Ему был противен бледный юнец, пытавшийся запугать старого солдата.

После этого разговора Ермаков со дня на день ожидал ареста, хотя и не чувствовал за собой никакой вины. Но ему повезло и на этот раз. То ли следователь забыл о нем, то ли не нашел подлеца, чтобы состряпать донос. Придаться к Ермакову было трудновато: не из дворян, в белой армии не служил.

Степан Степанович пошел в гору: часто открывались в то время вакансии. За четыре года вырос от майора до полковника.

Работал он много и добросовестно. Сидячая жизнь, постоянное нервное напряжение подтачивали его некогда могучий организм. И чем дальше, тем больше понимал Ермаков, что ему уже не угнаться за жизнью. Появилась новая техника, а ему не хватало знаний.

В эту осень Ермаков впервые с нетерпением ожидал отпуска. Надо было как следует отдохнуть, подлечить сердце. Альфред и Неля, вернувшиеся с юга, советовали ему отправиться в Крым, Игорь Булгаков – в Одую.

А Степану Степановичу хотелось побыть дома, с сыном и дочерью. Они уже большие, вот-вот разъедутся, оставят его одного.

Но Ермаков видел, что у детей свои дела, свои заботы и не найдется у них времени, чтобы коротать с отцом осенние вечера.

День в квартире начинался рано. Первым поднимался Степан Степанович, делал гимнастику, долго фыркал в ванной, обливаясь холодной водой. Заспанная Неля выбегала в халатике на кухню, гремела чайником. Ермаков чмокал дочь в щеку и уходил. Неля рывком открывала дверь в комнату брата, кричала:

– Вставайте, засони!

Из дома вылетала пулей, держа под мышкой портфель, на ходу надевая пальто. Ей надо было далеко ехать: техникум, в котором она училась, находился на другом конце города.

Игорю, привыкшему к спокойной и неторопливой провинциальной жизни, не нравилась эта спешка, он подтрунивал над Нелей, она отвечала тем же. Нескладная, с длинными руками и тонкими ногами, Неля была похожа на мальчишку. Движения резкие – того гляди что-нибудь свалит или разобьет. Девчонок она презирала, считала их сплетницами и тряпичницами, водилась только с ребятами, вместе с ними занималась в авиамodelьном кружке.

Лицо у Нели некрасивое: нос острый, верхняя губа напоминает букву «М», при улыбке губы растягиваются не в стороны, а вверх и вниз.

Хозяйство она вела безалаберно: то притащит к вечернему чаю и колбасу, и мед, и сыр, а то вообще ничего, кроме хлеба, не купит. Игорь однажды оказал ей об этом. Она засмеялась.

– Я не собираюсь женой быть... Пусть с кастрюлями девчонки возятся.

– А ты кто?

– Техник. Мое дело станки да металл. Ты Конституцию знаешь?

– Ну, учил.

– Вот и ну. Там черным по белому сказано: равноправие. Иди вот и ставь чайник. Или Альфреду скажи. А меня ребята на улице ждут.

Игорь и ответить не успел: схватила сверток и убежала.

Совсем другим человеком был ее брат. Большого роста, полный не по годам, Альфред отличался удивительной рассеянностью. Зимой и летом ходил с непокрытой головой, стригся редко, и волосы у него отрастали длинные, как у попа. Игоря удивляла его беспомощность в житейских делах. На пальто вечно не хватало пуговиц, галстук завязан косо, на брюках какие-то пятна. Карманы топорщились, в них можно было обнаружить что угодно: и циркуль, и черствый кусок хлеба или газету двухмесячной давности.

Альфред был старше Игоря, занимался в аспирантуре и работал над диссертацией, но с Булгаковым держался на равной ноге. Когда приходила Настя, Альфред страшно смущался. Толстый, громоздкий, он не знал, куда деть руки, сидел в напряженной позе или, бормоча извинения, пятился к двери.

– Мне даже неудобно, – говорила Настя.

– Он со всеми девушками такой, – успокаивал Игорь.

Булгаков уходил на занятия последним. До педагогического института, в котором он учился, надо было проехать десяток остановок на третьем или двадцать втором трамвае. Поступить в институт помог Игорю профессор Маркунин, тот самый старик, которому рассказывал он о скифах на экзамене в университете. Булгаков встретил профессора в коридоре, когда пришел забирать документы. Маркунин не захотел расстаться с молодым любителем истории, направил его в Подсосенский переулок, пообещав замолвить несколько слов. Профессор читал лекции в пединституте и пользовался там уважением. Слова его оказались вескими.

Первое время Игорь приналег на учебу. После занятий обедал в студенческой столовой и спешил домой. В квартире было тихо. Евгения Константиновна, теща Ермакова, уезжала к своим подружкам, старым актрисам, рассуждать об упадке нынешней оперы и вздыхать о прошлых временах.

Иногда Евгения Константиновна заходила в комнату к Игорю. Худая, в старомодном платье с буфами на плечах, с седыми буклями на голове, строго смотрела через очки в золоченой оправе, говорила скрипуче, с французским прононсом.

– Занимаетесь, молодой человек?

– Помаленьку.

– Это хорошо, – одобряла она, жуя морщинистыми губами. – А в Большом театре вы так еще и не изволили побывать?

– Денег негу.

– Я достану вам контрамарку. У меня много знакомых в театральном мире.

Евгения Константиновна обещала не один раз, но, видимо, забывала. Потом Игорь начал подозревать, что не так уж много у нее знакомых. Она и сама-то ходила в театр лишь тогда, когда Степан Степанович или Альфред приносили билеты.

– Прохор, коньяк будешь?

– Лучше водку.

– Нету, брат. – Ермаков вздохнул. – Спирта флакончик имеется. Разводи сам, по вкусу... А мне одну рюмку. Больше нельзя, боюсь.

– Стареешь, что ли?

– Пора. Тебе вверх расти, мне – вниз.

– Юродствуешь, Степаныч, приbedняешься. Женился бы – сразу кровь заиграет.

– Куда уж там. Внуков жду.

Они разговаривали грубовато и насмешливо, как разговаривают мужчины, хорошо знающие друг друга. Дружба их возникла лет пятнадцать назад, когда красноармеец Прохор Порошин служил в батарее Ермакова. Лобастый крепыш с твердым жестким взглядом, пришедший

в армию с угольной шахты, носил кимовский значок, был до дерзости прям в суждениях и необыкновенно любознателен. Ермаков разрешил ему пользоваться своими книгами. Порошин приходил запросто к нему домой, сидел над учебниками и наставлениями. Уезжая по служебным делам, Степан Степанович оставлял Нелю на попечение Прохора. Тот умел ладить с трехлетней девчонкой – сунет ей куклу, разложит куб ими, та сидит себе тихонько в углу. А го заберется к Прохору на колени, посапывает, смотрит молча, как он пишет.

Порошина назначили вскоре командиром орудия. Кроме того, он «заворачивал» комсомольской организацией дивизиона. Красноармейцы любили слушать его горячие выступления, в которых он призывал рубить под корень троцкистов, кулаков и вообще всю мировую контрреволюцию.

Потом они расстались. Порошин уехал на курсы. Ермаков часто вспоминал боевого, упрямого шахтера, думал, что у этого парня впереди большая дорога. Думал и не ошибся. Когда они снова встретились в Москве, полковник Порошки работал уже в Генеральном штабе.

За плечами у него была академия, два года боев в Китае и схватка у Халхин-Гола. Порошин догнал Ермакова в звании, занимал более высокую должность, хоть ему и было только тридцать пять лет. Обзавестись семьей он еще не успел, жил бобылем, часто разъезжал с инспекцией по военным округам.

Друзья сидели за письменным столом в комнате Ермакова. Одну стену занимала огромная карта Европы, другую – Советского Союза. Карты были новые. По центру Европы разлилась коричневая краска. Она скрывала под собой Германию, Австрию, Чехословакию, Саарскую область.

– Не успевают картографы, – сказал Порошин. – Карта только вышла, а уже Францию закрашивать надо...

– Я там линию провел.

– Линию... – повторил Порошин, снимая широкий желтый ремень с тяжелой звездой на пряжке. Багряно поблескивал у него на груди орден Красного Знамени. Расстегнутый ворот гимнастерки открывал крепкую мускулистую шею с большим кадыком.

Порошин сильно изменился за последние годы: раздался вширь, начал лысеть, от этого лоб его казался еще более высоким и выпуклым. Заметнее выдвинулся вперед массивный квадратный подбородок. Взгляд твердый, властный.

– Ты чего задумался, Проша? Выпьем?

– Налей... Мальчик слишком широко шагает, Степаныч. Не пора ли его остановить?

– Гитлер не мальчик. Ты еще под столом ползал, а он уже на той войне ефрейтором был.

– Знаю. Но остановить пора.

– Он и так остановится. Гляди, на карте коричневое с красным столкнулось.

– Это и тревожит.

Ермаков закатал рукава пижамы, по локоть обнажил волосатые руки. Осторожно налил в рюмку спирт. Подвигая гостью тарелку с бужениной, спросил:

– Ты к верхам ближе, что у вас там думают?

– Линия прямая. Мы за мир. «Нас не трогай – мы не тронем. А затронешь – спуску не дадим». И сдается мне, Степаныч, что наши не так Гитлера опасаются, как англичан с американцами. Не их самих, конечно. Боятся, что спровоцируют они нам войну с Германией.

Ермаков молча пожал плечами: в политике он разбирался туго, предпочитал слушать.

– Вот такие дела, Степаныч. Это мое мнение... Впрочем, у тебя речь Иосифа Виссарионовича на Восемнадцатом съезде имеется?

Ермаков, не вставая, протянул руку и снял с этажерки брошюру. Порошин перелистал ее.

– Ага, вот! Слушай, что Сталин говорит. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками...

Ну, Степаныч, в чей огород этот булыжник? Адрес точный. Всем известно, кто каштаны из огня чужими руками таскать привык.

– Булыжник увесистый, – сказал Ермаков.

– Тут все правильно, – продолжал Порошин. – Беда только в том, что у нас до черта перегибчиков. Своих мыслей в голове нет, а как директиву получают, так и жмут напропалую. Гнут в одну сторону, не оборачиваясь. Не понимают того, что любую правильную идею чрезмерным усердием можно довести до абсурда... Есть, Степаныч, у нас такие, что на немцев рукой махнули. Сказано: англичане, провокация – ну и все! А Гитлер чуть ли не в друзьях ходит. Недавно стало известно, что немцы часть сил перебрасывают из Франции в Восточную Германию. Ну, а наши не верят: как это так перебрасывают? Гитлер армию демобилизует, у нас договор! Это англичане, дескать, фальшивку пустили... Десять раз проверяли. Убедились в конце концов, что ночью бывает темно, а днем – светло.

– Ты бы, Прохор, поменьше критику наводил. Ну, когда со мной разговариваешь, это ладно. А то ты небось и при чужих людях распространяешься. А люди всякие бывают. И в дневник, наверно, записываешь?

– Пишу, – неохотно ответил Порошин.

Он всегда испытывал неловкость при упоминании о дневнике. Это было его давнишнее пристрастие, его сугубо личный секрет, о котором знал только один Ермаков.

– Вот-вот, ты не очень-то распространяйся в своих тетрадках, – сказал Степан Степанович. – Дневник – это, брат, документ. Не дай бог, попадет в чужие руки.

– Он у меня в сейфе, – усмехнулся Порошин.

– Кому надо, тот и из сейфа достанет... Ты больше на свои личные переживания упор делай, а службу не трогай.

– Ладно, учту столь ценное предложение... Выпьем, что ли, за все хорошее?!

– Твое здоровье.

В комнату стремительно ворвалась Неля с портфелем под мышкой. Серая жакетка переброшена через плечо. Волосы выбились из-под берета.

– Так и знала! – воскликнула она. – Опять бражничаете! Опять накурили!

– А «здравствуйте» где? – спросил Порошин. – На улице забыла?

– Ничего не забыла. – Она ткнулась губами в висок полковника. – Вот. А теперь покажите, кто меня обманул, кто на аэродром свозить обещал?

– И свезу.

– Когда?

– До нового года.

– Надежно?

– Слово, – смеялся тот, не сводя глаз с тонконогой девчонки.

А Степан Степанович отметил про себя, каким ласковым стал вдруг его взгляд.

– Что вы едите? – спросила Неля. – Ты почему, папа, грибы не достал?

– Ты же не велела трогать.

– Не велела, пока дяди Проши нет. Жадничаешь?

– Попался, Степаныч, – погрозил пальцем Порошин, притянул Велю к себе, заправил под берет волосы. – На глазах ты растешь, коза.. Куда бежишь-то опять? Посидела бы с нами.

– Некогда. Чертить надо. Поставила на стол грибы и ушла.

– Верста коломенская, – вздохнул Ермаков.

– Хорошая девка! Отдал бы ты мне в дочери ее, Степаныч. Скучно мне одному.

– Она тебе в жены годится...

– Ну, стар я. Как дочку люблю ее, уж ты не ревнуй. Помню, на горшок ее когда-то сажал, а теперь поди ж ты!

Выпив, помолчали. Степан Степанович открыл форточку, шлепая домашними туфлями, вернулся к столу.

– Ну, чем занимаешься, генштабист?

– Прикурить дай. – Порошин потянулся через стол. – Немецкое вторжение во Францию анализируем. Ищем, что противопоставить машинам и нахальству. Техники у нас еще маловато, да и танки в основном с противоположным бронированием. Но главное – люди. Сам знаешь: в частях такая нехватка водителей, что трактористов приходится сразу на танк сажать...

– Раньше надо было браться за это.

– До всего руки не доходят.

– Иной раз руки, иной раз и головы. Комдив Дьяконский когда еще колья ломал, доказывал, что крупные механизированные соединения позарез нужны. На этом деле он, может быть, и шею себе свернул... И теперь спешим. У немцев армия танками с противоснарядным бронированием оснащена, а у нас еще опытные экземпляры испытываются.

– Дьяконского я знал, Степаныч. Голова у него действительно хорошо работала.

– По его делу, Прохор, с тобой посоветоваться хочу. Ты служил с комдивом?

– Довелось немного.

– Понимаешь, Прохор, – смущенно улыбнулся Степан Степанович. – Тут ко мне из провинции двоюродный племянник приехал, письмо привез. У Дьяконского сын вырос, мечтает стать командиром. Дьяконская просит меня с сослуживцами мужа поговорить, помочь парню.

По тому, как посуровело лицо Порошина и плотно сомкнулись челюсти, Ермаков понял, что Прохор этим делом заниматься не станет.

– Где сейчас парень?

– Взяли в армию.

– Ты, Степаныч, службу рядовым начинал. И я к тебе на батарею тоже рядовым пришел. А теперь вот оба полковники... И вообще, какой это, к дьяволу, командир, ежели он горячей каши солдатской до слез не хлебнул!

– У нас другое положение было.

– А я тебе окажу так: если этот Дьяконский парень стоящий – он своего добьется. А если слизняк, тряпка, то и толковать о нем нечего. И тебе благотворительностью заниматься не советую. Ты его знаешь? Нет. И я не знаю, чем он дышит. Там, на месте, люди посмотрят, подумают, на что он годен.

– Ладно, пусть служит, – тихо сказал Ермаков.

Помолчав, спросил:

– Ты куда едешь теперь?

– В Свердловск. Заводик есть один, и дел там сейчас куча.

– Когда отправляешься?

– Завтра. Билет в кармане.

Надев шинель и туго стянув ее ремнем, Прохор Севостьянович вышел в гостиную проститься с Нелей.

– Значит, до нового года на аэродром! – напомнила она, подавая руку.

– Как только вернусь... Да что ты мне локоть тычешь, – грубовато пошутил Порошин. – Большая стала? Замуж выйдешь, все равно за руку проститься не буду.

– А как же?

– Вот так. – Порошин поцеловал ее в щеку.

– Очень уж не командирское прощанье, – засмеялась она.

Прохор Севостьянович медлил, долго надевал перчатки. Потом, улыбнувшись виновато, спросил Нелю:

– Ты ведь не учишься завтра? Проводила бы на вокзал старика.

– Ну?! – удивилась она. – Зачем это?

– Что-то, знаешь, грустно мне теперь уезжать в одиночку. Всех провожают, а меня нет... Ты мне рукой помашешь... Ну, как?

– Хорошо, – сказала она, серьезно глядя ему в лицо. – Хорошо, я провожу.

* * *

Победа во Франции принесла Гейнцу Гудериану звание генерал-полковника и укрепила его авторитет. Теория молниеносной войны, которую генерал разработал и применил на практике, снова полностью оправдала себя.

Осенние дни 1940 года Гудериан провел дома, отдыхая после трудного лета. Он был доволен, что его отозвали на родину. В Германии, казалось, даже воздух был другой, благоприятно действовал на нервную систему. После разрушенных французских городов Гудериана радовала чистота на улицах, ровные газоны с подстриженными кустами. Генерал считал, что готическая архитектура немецких городов, с ее прямыми линиями и правильными пропорциями, благотворно отражается на образе мышления людей, приучает их к строгости, дисциплинирует, помогает рассуждать логично и просто.

В октябре Гейнц отметил двадцать седьмую годовщину помолвки со своей Маргаритой, верной и нежной подругой. Ой все эти годы прожил в полном согласии с женой.. Они не ссорились, не изменяли друг другу. Маргарита была достаточно хороша как женщина – Гейнцу не приходилось заглядываться на других.

Жена вырастила ему двух сыновей – прекрасных солдат. Теперь, когда кончились боевые действия во Франции, Гудериан был спокоен за них.

Благоприятно складывалась международная обстановка. Германия стала, наконец, действительно великой державой. Вместе со обоими союзниками она могла теперь диктовать условия западному миру. Над Англией шли воздушные бои. На берегу Ла-Манша немецкие войска сосредоточивали плавсредства, готовясь провести операцию «Морской лев» – высадку на Британские острова. Все шло хорошо. Были, правда, неудачи у итальянцев в Греции и в Северной Африке. Но в общем развитии событий они большого значения не имели.

Гитлер ненавидел коммунистов. Было ясно, что пакт о ненападении, заключенный с Советами, нужен для того, чтобы, разгромив врагов на западе, укрепить тыл и лишь после этого бросить все силы на восток. Рано или поздно так будет – жизненные пространства на востоке немецкому народу необходимы.

Генерал снова, в который уже раз, перечитывал программную книгу Гитлера «Моя борьба». Фюрер упрямо и настойчиво добивался того, о чем писал. Не было оснований сомневаться и в том, что он не отступит от своих взглядов, изложенных в четырнадцатой главе второго тома книги.

Красным карандашом Гудериан подчеркнул слова: «Если то или иное государство приобрело огромные пространства, то это вовсе не значит, что оно должно удерживать их вечно. В лучшем случае владение такими пространствами говорит лишь о силе победителя и слабости тех, кто поддался ему. Только сила дает право на владение... Свыше не предназначено другим народам больше земель, чем германскому народу, и мы не можем винить Провидение за несправедливое распределение земель. Земля, на которой мы живем, не дар небес нашим предкам. Они должны были завоевать ее, рискуя своей жизнью. Так и в будущем наш народ не получит новые земли и вместе с ними средства к существованию как подарок от других народов, а должен будет завоевать их силой победоносного оружия».

Дальше Гитлер точно указывал место будущих территориальных захватов. «Но сейчас, когда мы говорим о новых землях в Европе, мы должны в первую очередь думать о России и подвластных ей пограничных государствах. Кажется, сама судьба указывает нам путь в этом направлении...»

Сказано настолько откровенно и ясно, что не понять мог только глупец...

Как-то днем начальник штаба танковой группы подполковник барон фон Либенштейн и начальник оперативной части майор Байерлейн были вызваны на совещание к начальнику Генерального штаба сухопутных сил генерал-полковнику Гальдеру. Совещания в генштабе проводились часто, и Гудериан не придал этому вызову никакого значения.

Вечером Гейнц сидел в домашнем кабинете, приводил в порядок личную переписку последних месяцев. За окном, за тяжелыми синими шторами, метался декабрьский ветер, шуршал по стеклам мелкий сухой снег. Оттого что на улице было холодно и темно, кабинет казался сегодня особенно уютным. Он был обставлен по-военному просто: застекленные книжные шкафы во всю стену, кожаный диван, несколько кресел и массивный дубовый стол. Две чернильницы были искусно выполнены в виде миниатюрных танков. Между ними – снарядная гильза с ручками и карандашами.

Настольная лампа лила мягкий свет. Стены кабинета тонули в полумраке, тускло светились золоченые багеты картин. Одна из них висела над столом Гейнца. Это был самый дорогой трофей французской кампании – портрет его кумира Наполеона, написанный еще при жизни императора. Великий полководец был изображен на холме с подзорной трубой в руке. Стоял спокойно, величественно, взор его был устремлен вперед – он видел перед собой новые победы. Повинуясь своему императору, шли в бой солдаты...

Оторвавшись от портрета, Гудериан запахнул теплый халат и склонился над столом. Надо было написать несколько писем и просмотреть подробный рапорт одного из полковых командиров о непригодности старых танков Т-1.

Сзади неслышно подошла Маргарита.

– Ты очень занят?

– Нет, дорогая.

Маргарита положила на стол начатое вязанье, провела ладонью по его волосам.

– Седеешь, Гейнц. Нельзя так много трудиться.

– Больше думай о себе, дорогая. Ты утомляешься с домашними заботами.

– Это неправда, – улыбнулась она, обрадованная его вниманием. – Может быть, хочешь кофе?

Слуга доложил, что фон Либенштейн и Байерлейн просят принять их. Гудериан удивился. Он никогда не принимал офицеров у себя дома. Либенштейн прекрасно знал это. И если все-таки решил прийти, значит, дело очень важное.

– Проси.

Маргарита задержалась возле двери.

– Ты переоденешься? Дать мундир?

– Нет, – секунду поколебавшись, ответил Гудериан. Он нажал кнопку выключателя, вспыхнула люстра под потолком. Стали отчетливо видны картины на стенах, портреты деятелей германского генерального штаба: Шлиффена, Мольтке и Гинденбурга.

Офицеры вошли в кабинет возбужденные, с покрасневшими от холода лицами. Увидев их, Гудериан понял – принесли хорошую весть. «Решен вопрос о высадке в Англию», – подумал он.

Майор Байерлейн, полный, грузный человек, чувствовал себя стесненно. Сел на краешек кресла, одернул рукава тесного мундира. Подполковник фон Либенштейн держался свободно. Этот способный офицер рожден был, казалось, именно для того, чтобы работать в штабе. Он помнил сотни фамилий, огромное количество цифр, всегда знал все, что делается в частях танковой группы. Он умел постоять за себя. Если его ругали, слушал молча, плотно сжимая губы и хмурясь. Когда начальник успокаивался, Либенштейн начинал говорить неторопливо и веско. Доводы его были продуманы и убедительны. Горячность начальников разбивалась о безукоризненную выдержку подполковника.

– Чем обязан? – спросил Гудериан офицеров.

Либенштейн достал новую, хрустящую карту, развернул ее на столе, сказал с оттенком торжественности:

– Генерал-полковник Гальдер сообщил нам план подготовки войны с Россией.

Гудериан едва сдержал возглас удивления.

– Когда? – быстро спросил он.

– Ориентировочно в мае.

Гейнц не сразу мог собраться с мыслями. Он слышал об этом плане, о нем говорил как-то Йодль, говорил и сам Гальдер. Еще в июле генерал-лейтенант Маркс, начальник штаба 18-й армии, получил задание разработать предварительный план войны против Советского Союза. Но все это было еще туманно и неконкретно. Подобные документы составлялись и раньше.

– Нам сообщили немного, – продолжал Либенштейн. – Только в той части, которая касается начальников штабов. Вам же, вероятно, сообщат завтра весь план. Мы сочли долгом приехать к вам и выразить свою радость. – Подполковник не опускал глаз с Гудериана, стараясь понять, какое впечатление производят его слова.

– Благодарю, – кивнул генерал и наклонился над картой.

Перед глазами, среди голубых прожилок рек и зеленых пятен лесов, пестрели незнакомые названия. Мысленно провел линию от Берлина на восток, через Варшаву, Брест, Минск, Смоленск – к большому красному кружку. Кому-то скоро придется идти этим путем на Москву.

Майор Байерлейн сказал сухим деревянным голосом без интонаций:

– Гальдер выразил уверенность, что для разгрома России потребуется не больше восьмидесяти недель. После этого войска будут переброшены против Англии.

– Возможно, война не затянется, – согласился Гудериан. – Разумеется, если будет правильно понята роль танковых соединений.

– По-моему, план как раз и составлен с учетом использования крупных бронетанковых сил, – заметил подполковник фон Либенштейн. – Общий замысел похода мне представляется достаточно обоснованным.

Гудериан прищурил глаза.

– Помните, господа, знаменитые слова Мольтке? Он сказал, что ни один оперативный план не может оставаться неизменным после встречи с главными силами противника... Над этим стоит подумать. План – это еще не победа.

Байерлейн посмотрел на генерала с удивлением. Либенштейн, чуть склонив красивую, аккуратно причесанную голову с тонкими, прозрачными ушами, задумчиво постукивал пальцами по столу. Слова генерала возымели действие. Гудериан сознательно охладил пыл молодых офицеров. Они плохо понимали трудности войны с Россией. Это не Польша и Франция, не прогулка по Дании. К войне надо готовиться очень серьезно.

– У русских огромная территория, – негромко произнес Либенштейн. – Разгромить их можно только стремительным ударом, пока не проведена мобилизация, не вооружены резервы.

– Значит, с «Морским львом» покончено? – спросил Гудериан.

– Гальдер заявил, что захват Англии планируется сразу же после России. Сейчас мало амфибийных сил.

– Все планы, планы, – усмехнулся Гудериан. – После разгрома России... А что мы знаем об этой стране, ее военной мощи? Что знаем о ее экономике, путях сообщения? Страна за железным занавесом. Источники информации перекрыты. Мы не знаем даже их бюджет. О своих успехах Советы сообщают не в абсолютных величинах, а в сравнительных процентах. Но сравнивать не с чем...

– Русские умеют хранить секреты, – подтвердил Либенштейн. – Насколько мне известно, в армии мирного времени полки у них даже не имеют постоянных номеров.

– Можно определить призывной контингент от общего числа населения.

Раздался легкий стук в дверь. Вошла Маргарита. Гудериан представил офицеров жене.

– Время пить кофе, – сказала она.

– Пусть нам подадут сюда, дорогая.

Слуга принес кофе в маленьких китайских чашках. Для толстых пальцев майора Байерлейна чашка была слишком хрупкой. Он держал ее осторожно, боясь раздавить. Гудериан старался не смотреть на него, чтобы тот не смущался.

– Война с финнами показала уязвимые места русских, – продолжал Либенштейн. – Тактическая подготовка младших и средних командиров у них слабая. Несмотря на численное превосходство противника, финны держались три месяца. Они даже окружили и уничтожили две русские дивизии в районе Суомуссалми. Простите, генерал, – по губам Либенштейна скользнула усмешка, – но мне порой кажется, что вся эта война – просто уловка русских. Посмотрите, дескать, какие мы слабые. Не ловушка ли это?

– Это было бы слишком хитро, – засмеялся Гудериан.

– Да, конечно. У русских нет гибкости, мало опыта.

– Опыт они получили в Финляндии, – возразил генерал. – Изучают и наши походы. Маршал Тимошенко приказал улучшить подготовку бойцов, приучать командиров к самостоятельности, отказаться от шаблонов.

– Для этого у них просто не хватит времени, господин генерал. Мы не будем ждать. Тем более, что наши унтер-офицеры и офицеры прошли хорошую школу, высшее командование имеет достаточно кадров. А русские после чистки 1937 года создают эти кадры почти заново.

Гудериан внимательно слушал доводы Либенштейна. В серьезном деле вредно полагаться на самого себя, надо выслушать все мнения, оценить их и сделать свои выводы.

Майор Байерлейн, справившись, наконец, с кофе, осторожно поставил на серебряный поднос чашку, вздохнул и произнес давно уже приготовленную тираду:

– Россия – колосс на глиняных ногах. Мы тряхнем его так, что все многонациональное государство развалится после первого удара наших танков.

«Доктор Геббельс – великий мастер своего дела», – подумал Гудериан, глядя на простое лицо Байерлейна.

А вслух сказал:

– Будем надеяться, майор. Но у Советов тоже есть танки. И, боюсь, гораздо больше, чем у нас. Может быть, в три или четыре раза.

– «Кристи русский»!¹ Они имеют только противопульное бронирование и слабы перед пушками наших Т-IV!

– Будем надеяться, – повторил Гудериан.

– Наша авиация сильней, – упрямо сказал Байерлейн.

– Вы, господа, забываете еще один фактор.

Оба офицера вопросительно посмотрели на Гудериана.

– Забываете русского солдата. А между тем этот солдат разбил войска гениального полководца Наполеона. В первую мировую войну мне довелось составить собственное мнение по этому вопросу. Русские смелы, выносливы, неприхотливы. Я не знаю солдата лучше русского, не считая, разумеется, наших. В свое время Фридрих Второй имел все основания сказать, что русского солдата недостаточно убить; нет, после этого его надо еще повалить. И с этим солдатом нам придется столкнуться.

– Исход войны решает теперь техника, – возразил подполковник Либенштейн.

– Да, это значительно увеличивает наши шансы на победу, – согласился Гудериан.

¹ Так немцы называли советские танки БТ, состоявшие тогда на вооружении Красной Армии.

Когда офицеры ушли, генерал, откинувшись в кресле, закрыл глаза, перебирая детали разговора. Он не заметил, как вошла Маргарита. Поднял веки только тогда, когда услышал ее голос.

– Я прошу, Гейнц, чтобы это не повторялось. Достаточно того, что ты работаешь днем. Вечер принадлежит семье.

– Не волнуйся, дорогая, – поцеловал он руку жены. – Было очень важное дело.

– Напишу сыновьям, они проберут тебя, – мягче сказала Маргарита.

Взяв поднос, она направилась к двери.

– Ты ложишься? – спросил он.

– Приму ванну и спать.

– Сегодня четверг... Я приду к тебе.

– Хорошо.

Маргарита улыбнулась и, выйдя из комнаты, нотой прикрыла дверь.

* * *

Рота возвращалась с занятий по тактике. Весь день провели на открытом поле, по которому режущий ледяной ветер крутил поземку, учились переползать и маскироваться. Красноармейцы промерзли, шагали усталые и голодные. Как назло, к вечеру поднялась вьюга. Противогазы, подсумки, вещевые мешки потяжелели, облепленные снегом. Винтовочные ремни резали плечи.

Туго приходилось толстому Сашке. Лицо распаренное, жаркое, все в каплях: то ли от пота, то ли от растаявшего снега. Короткие ноги передвигал с трудом – вязли в белом месиве. Виктор пожалел Фокина, взяв у него вещевого мешок, заметил:

– Это, брат, не в трубу дуть.

– Хорошо тебе, черту голенастому, журавлю, – огрызнулся Сашка и надолго затих, только сопел носом.

Приумолк и балагур Карасев. Шатал согнувшись, пряча лицо от ветра. Противогазная сумка была по спине.

Мимо, обгоняя строй, пробежал лейтенант Бесстужев. Резво прыгал в сугробах, будто и не устал за день. Капитан Патлюк ушел с поля еще в обед, и роту сейчас вел Бесстужев.

– Козлом скачет, мать его неродимая, – выругался Лешка. – Двужильный он, что ли?

– Привычный.

Лейтенант исчез в голове колонны за белой занавесью пурги. Оттуда вскоре раздался крик старшины Черновода:

– Тан-ки!

Рота остановилась. Сперва никто не понял, в чем дело.

– Танки противника! Рассыпайсь! Гранаты к бою!

У Виктора холодок по сердцу пробежал. «Настоящие?!» Но тут же сообразил – выдумка Бесстужева.

Красноармейцы сыпанули в обе стороны от дороги, падали в снег, прятались за кустами. Виктор по пояс провалился в сугроб, рядом барахтался Карасев, шепотом ругал страшным виртуозным матом и Бесстужева, и старшину, и райвоенкома, пославшего его в пехоту.

Минут пять провалялись в снегу, потом пошли строиться. У Фокина жалкое, измученное лицо.

– Измотался, Витя.

– Держись за локоть. Ну, крепче.

Колонна снова потянулась по занесенному проселку. Неумный ветер гнал навстречу, бойцам сухой и колющий снег.

Капитан Патлюк, вздремнувший после обеда дома, встречал роту на повороте дороги, чтобы самому довести до казармы. Бесстужев подбежал с докладом. Колонна медленно ползала мимо. Красноармейцы сутулились, все белые от снега. Позади тащились отставшие.

– Стадо баранов, – сказал Патлюк.

– Люди устали, товарищ «капитан. – У Бесстужева щеки румяней обычного, снег налип на бровях.

– Привыкнуть пора.

Капитан занял место в голове колонны. Обернувшись лицом к строю, пятясь задом, крикнул:

– Веселей, орлы! Запевала, песню!

В середине строя раздался простуженный, хриловатый голос Фокина:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Десятка два бойцов поддержали: недружно, вразнобой закончили куплет:

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой...

Капитан поморщился.

– Отставить! Нищего за хвост тянете. Другую давай!

Фокин и Айрапетян начали про трех танкистов, и опять песня угасла – не подхватил строй.

– Р-р-рота-а! – рявкнул Патлюк. – Стой!

Колонна встала. Сзади подходили отставшие.

Капитан влез на пенек.

– Петь будем?

Молчание. Слышно только тяжелое дыхание людей.

– Петь будем?

– Будем, – ответило несколько голосов.

Капитан спрыгнул с пенька, зло визгнул под сапогами снег.

– Рота, слушай мою команду! С места бего-ом, марш!

Красноармейцы затрусили тяжело, медленно, лязгая оружием. Некоторые, столкнувшись, падали. Потом ребята сообразили – стали падать, не сталкиваясь. Иные отдохнуть, иные – от нахлынувшего озорства. Кругом вьюга, белая муть, поди разберись тут, с кем что случилось. Рота растянулась метров на двести.

– Стой!

Над сбившейся толпой клубился пар. В полусумраке Патлюк различал злые упрямые лица. Ну, что ж, он тоже упрям!

Капитан подождал, пока взводные наведут порядок, выровняют шеренги. Крикнул, напрягая голосовые связки:

– Будем петь?

Молчание.

– Рота-а-а! – Он вскинул руку и резко опустил ее. – Ложись!

Красноармейцы повалились в снег.

– Встать!

Поднимались медленно, опираясь на винтовки, отряхивали шинели.

– Ложись!

– Встать!

На одну секунду Патлюку стало жалко усталых людей... Но разве его жалели? Надо сломить их, чтобы знали: слово командира – закон.

– Ложись!

– Встать! Петь будем?

Снова молчание.

– Ну, хорошо. – Голос Патлюка зловеще повеселел. – Сейчас мы пойдем обратно. Будем идти, пока запоете. Дело ваше, можете шагать хоть до утра. Я не устал, мне не к спеху.

– Издеваетесь? Не скоты мы! – крикнули вдруг из строя.

Капитан повернулся резко.

– Кто сказал? Бесстужев, ваш взвод?

– Мой.

– Это я сказал и еще повторю. – В первую шеренгу выдвинулся Карасев, без шапки, с подоткнутыми лапами шинели. – Не скоты мы, нечего в снег валять.

– Десять суток ареста за разговоры в строю... Шапка где?

– Затоптали где-то.

– Разберитесь, Бесстужев.

Лейтенант вошел в строй, говорил негромко:

– Дьяконский, Айрапетян, Носов – всем петь. Всем до одного, весь взвод.

– Нашли шапку? – нетерпеливо крикнул Патлюк, похлопывая по колену перчаткой.

– Нет.

– Отправьте его в казарму... Рота, последний раз спрашиваю: петь будем?

– Будем! – жидко ответили из второго взвода.

– Плохо слышу. Будем?

– Будем!

– Еще раз.

– Будем!

– С места – пес-с-ню! Шагом марш!

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

На этот раз песню подхватила вся рота.

Когда колонна вошла в Крепость, красноармейцы повеселели, чувствуя близкий отдых. Печатали шаг, пели дружно, с подсвистом.

Командир полка, стоявший возле штаба, прислушавшись, сказал адъютанту:

– Красиво идут. Это Патлюк?

– Он самый.

– Хороший строевик, ничего не скажешь.

Случай с песней на другой день стал известен всему полку. Комиссар вызвал к себе Патлюка. Из штаба капитан вернулся часа через два злой и взъерошенный, приказал дежурному позвать Бесстужева. Когда лейтенант пришел, Патлюк сам захлопнул за ним дверь ротной канцелярии, накинул крючок, сунул Бесстужеву измятую пачку папирос.

– Кури.

– Спасибо.

– Этот... Карасев на гауптвахте?

– Да, отправил.

– Рота было на первое место выскочила, а теперь... Разболтались у тебя люди, Бесстужев.

– Разрешите напомнить, товарищ капитан, мой взвод запел первым.

– Запел, запел... Послушал бы ты, какой концерт мне комиссар закатил. Воспи-и-итывать надо, – протянул Патлюк. – Армия у нас или детский сад? Наше дело не в бирюльки играть, а крепости брать.

– Крепости, – не сдержался Бесстужев.

– Один черт... Больно нежный народ пошел. Бывало, пригонят парней – враз обломать можно. А эти очень ученые, каждый свое «я» показывает... Дьяконский у тебя, что ли?

– Мой.

– Тоже с гонором. Шуточки шутит...

– Он хороший боец.

– У тебя все хорошие, а меня за вас намыливают.

– Но ведь я докладывал вчера: люди устали.

– Чего с тобой толковать, – махнул рукой Патлюк. – Молодой ты еще и службы не понимаешь. Карасева твоего мы спишем. Он тракторист, в танковую часть просится. Поможем. Разгильдяи мне не нужны... К весенней инспекции чтобы все на большой палец было. Смотри, Бесстужев, голову оторву, если что...

– У меня шея крепкая.

– Да ты веселый сегодня! Голову, ладно, не трону, а за кубик опасайся. Жми на всю катушку, Бесстужев. Бравый вид, строевой шаг, порядок в казарме и чистое оружие – добьемся этого, значит, отличимся.

– Все понятно, товарищ капитан. – Белесые брови Бесстужева ползали вверх и вниз. – Все ясно. Разрешите быть свободным?

– Иди... Нет постой! – Патлюк ногой пододвинул табуретку, сел. – Скажи, у тебя в училище бывало такое, ну как вчера с песней?

– Бывало.

– Вот и я комиссару говорил: везде так, – оправдывался Патлюк, обкусывая мелкими блестящими зубами мундштук папиросы. Жеваную бумагу сплевывал в угол.

– Не везде, товарищ капитан. У каждого командира свои методы. Один предпочитает принуждать, другой – убеждать.

– И что же лучше?

– Честно говоря, не знаю. Без принуждения в армии тоже не обойдешься.

– То-то и оно!

– С другой стороны, принуждением, граничащим с голой муштрой, можно сделать из красноармейца болванчика, не думающий механизм. В человеке притупляется инициатива, самостоятельность.

– Не крути, лейтенант. У тебя у самого какой метод?

– Стараюсь убеждать. Это надежней. И потом вы же сами говорили: характер у меня мягкий.

– Н-да, характер, – крутнул головой Патлюк, – Взвод-то твой ведь действительно первым зашел. А ты до армии кем был?

– Никем, собственно. Окончил школу, поступил в институт. Тут война с финнами – рапорт подал. Только два дня повоевать пришлось, опоздал. Потом училище.

В дверь постучали. Бесстужев открыл. Вошел старшина Черновод, маленький, худощавый и подвижный сверхсрочник. Не голосом, не блестящей выправкой, а своей хозяйственностью славился в полку Черновод.

– Ко мне? – спросил Патлюк.

– До вас. – Старшина вытащил из кармана огромный, в красную полоску платок, солидно высморкался. – До вас я. Шапку Карасеву выдал. Из ротного запаса БУ.

– Так.

– Фокина приказано в музыкальный взвод перевести. Может, придержим его? Запевала хороший.

– Не выйдет. Я уже говорил с комиссаром. В оркестре людей мало...

Бесстужев отправился в библиотеку. Думал о Патлюке, что он, наверное, затеет сейчас длинный разговор со старшиной о валенках, одеялах и ружейном масле. Любит капитан считать и пересчитывать ротное добро, хороший бы из него завхоз получился.

На улице было морозно. Кирпичные стены кольцевого здания казарм покрылись изморозью: она блестела, вспыхивала голубоватыми искрами под холодными, негреющими лучами солнца. Из открытой двери кухни вырывались белые клубы пара, тянуло запахом подгорелой гречневой каши.

Гарнизонный клуб помещался в самом высоком здании Центрального острова, в старинной массивной постройке бывшей церкви.

Оставив в раздевалке шинель, Бесстужев пригладил перед зеркалом щетинистые короткие волосы.

– Давно не появлялись, товарищ лейтенант, – радостно встретила его молодая женщина в синем халате – библиотекарь Полина.

– Не так уж и давно.

– Это вам кажется.

– А вам?

– А я очень о вас соскучилась, – откровенно и просто сказала она, и Бесстужев почувствовал, что краснеет. Вот всегда она так – огородит, и не знаешь, что ответить.

Полина относилась к Бесстужеву с особым вниманием, выделяла его из числа других – он давно заметил это. Глаза ее странно туманились, улыбалась она как-то загадочно, когда говорила с ним. Всматривалась в него, будто искала что-то. Бесстужев терялся от этого взгляда.

Муж Полины, старший политрук Горицвет, желчный, молчаливый человек, служил в той же дивизии.

Сегодня, кроме Бесстужева, в библиотеке никого не было.

– Почему вы не ходите на танцы? – опросила Полина, опершись локтями на барьер.

– Некогда.

– Нельзя же жить только службой. У вас есть знакомая девушка?

– Нет.

– И вы никого не любите?

– Н-нет! А зачем? – спросил он и понял, что получилось глупо.

Полина подошла к нему, запрокинув голову, снизу вверх смотрела в лицо. От расширившихся темных зрачков глубокими казались ее глаза.

– Сегодня вечер. В клубе. Приходите, Юра, – умоляюще, прижав к груди руки, говорила она. – Я прошу. Очень.

– Занятия. В роте.

– Боже мой, разве нельзя?

– Нет. Моя очередь.

– Юра, ну в другой раз.

– Хорошо. Обязательно.

Полина медленно повернулась, пошла к шкафам, спросила:

– Вы хотели взять что-то?

– «Капитанскую дочку».

– Посмотрите сами на второй полке.

Бесстужев долго перебирал книги, не мог найти нужную. За спиной раздались мягкие шаги Полины. Юрий чувствовал – она рядом, смотрит на него.

– У меня дома есть очень хорошие книги, – сказала Полина почти шепотом. – Почему бы вам не зайти ко мне? Посидим, попьем чаю. Неужели вам не надоело все время в казарме? Я очень хочу видеть вас у себя. В четверг, послезавтра, ладно?

– Но...

– Я одна, Юра. Варшавская, двенадцать. Вы запомните?

Внизу хлопнула входная дверь.

– Вечером... Варшавская, – торопливо повторила она.

Капитан Патлюк жил на частной квартире. И он и два командира взвода обычно уходили по вечерам в Брест. Все привыкли к тому, что Бесстужев остается в казарме. Патлюк очень удивился, когда он попросил разрешения отбыть в город.

– Ну что же, иди, – сказал капитан, с любопытством глядя на смутившегося лейтенанта. – Иди до десяти ноль-ноль. Я сам на подъеме буду.

– Раньше вернусь.

– Не спеши. Засиделся небось, проветрись. Только пей в норму, чтобы в комендатуре тебя не искать.

– Я не в ресторан.

– К девушке, что ли?

– Да.

– Ну, не ждал! – хлопнул себя по ляжке Патлюк. – Когда ж ты успел? Из крепости не выходил.

– Успел вот, – скупно улыбнулся Бесстужев.

– Чистая работа! – Капитан натянул на густые волосы фуражку, примял сверху ладонью, привычно сдвинул набекрень. – Я ее знаю?

– Вряд ли. По делу иду.

– Известны мне эти дела, – осклабился Патлюк. – Ты не теряйся, сразу в дом лезь, – хохотнул он. – На улице холодно. До хаты – и баста!

Бесстужева коробил этот разговор. К счастью, капитан торопился на автобус, чтобы скорей попасть в город. Оставшись один, лейтенант сел к дощатому, покрытому зеленой бумагой столу. В ротной канцелярии неуютно и голо. Железная кровать старшины, над ней ящик с красным крестом: аптечка. Вешалка у двери. Над головой арочный свод. Расплылось на побеленной стене желтое пятно. Холодом и сыростью тянуло от кирпичной толщи.

Лейтенант почистил сапоги. Одевшись, разглядывал себя в зеркальце. Из-за двери доносилось привычное гудение людских голосов. Там его красноармейцы, его взвод. Свыкся с ними так, что невероятным казалось: вот уйдет сейчас, не будет думать о них...

Вечер опустился ласковый, тихий. Слегка подмораживало. Густой россыпью звездных пылинок делил пополам черное небо Млечный путь. Призывно и лукаво мигали вдали огоньки города. Прошел поезд, долго и отчетливо слышался дробный перестук его колес. «Скрип-скрип-скрип», – раздавалось под сапогами.

Утром выпал снег, он не успел затвердеть, улежаться. Сугробы вдоль дороги высокие, пухлые; отсвечивали они мягким зеленоватым блеском.

В городе Бесстужев пошел сначала в центр, решил купить Полине букет. Но в цветочном магазине оказались только примулы в горшках. Продащица предложила завернуть, но лейтенант отказался: с горшком неудобно. Чтобы не явиться с пустыми руками, взял в аптеке коробочку духов, засунул в глубокий карман шинели.

На углу Варшавской улицы Бесстужев вдруг оробел, пошел тише, воровато оглядываясь. Вот и двенадцатый дом. Голые ветлы за палисадником. Низко надвинулась с крыши снеговая шапка, под ней, в тени, шесть окошек с закрытыми ставнями, из одного пробивается полоска света.

Осторожно притворил за собой калитку, поднялся по скрипучим ступенькам. Собрался с духом, дернул за кольцо в двери.

Полина открыла, даже не опросив кто. Взяла за рукав, провела по коридору в маленькую комнатку.

– Ой, какой вы холодный! Замерзли? Нашли быстро?

Повесив шинель, повернулась к нему, протянула обе руки.

– Ну, здравствуйте.

В белой блузе с закрытым воротом, в синей широкой юбке, она казалась сейчас стройней и выше. Густые волосы ниспадали на плечи.

– Какая-то вы новая. Подросли вроде, – смущенно говорил он. – И волосы опять же...

– А вы меня только в халате да в платке видели, – улыбнулась Полина. – Ну, садитесь сюда, – показала она на диван. – Посмотрите книги, а я чай поставлю.

– Не нужно, не хлопочите.

– Нет, уж, товарищ лейтенант, сегодня вы мой пленник! – торжествующе засмеялась она, затрепетали ноздри прямого точеного носа. – Командовать сегодня я буду. Вам – отдыхать!

– Слушаюсь! – согласился он.

Схватив со спинки кровати фартук, Полина исчезла за дверью. Бесстужев рассеянно взял с этажерки книгу, не раскрывая ее, осматривал комнату. Просто удивительно, сколько мебели было в этом маленьком помещении. Диван, высокая никелированная кровать с горкой подушек, пузатый шкаф, гардероб, швейная машинка, зеркало. Возле стола – три стула. Темно-зеленые обои придавали комнате немного мрачноватый вид. Электрическая лампочка под голубым абажуром освещала только середину комнаты, в углах и за мебелью прятался полумрак.

Бесстужев чувствовал себя неловко, не исчезало напряжение. Чудилось: вот-вот войдет сюда старший политрук Горицвет, натянуто улыбнется, открыв крупные редкие зубы: «Рад видеть, лейтенант Бесстужев». Юрия даже передернуло при мысли об этом. Но Горицвет не показывался. Тихо было в доме, слышалось только, как шипит на кухне примус. Ничто не напоминало о том, что в комнате живет мужчина. Ни пепельницы, ни одежды на вешалке. Даже среди фотографий на стене не было снимка старшего политрука.

– Тесно у меня? – опросила Полина, появившаяся на пороге.

– Нет, ничего. А за перегородкой – хозяева?

– Хозяева в другой половине дома. За перегородкой сейчас пусто. Там квартира Горицвета, но он в отпуске.

– Его квартира? – удивился Юрий. – А здесь?

– Тут моя. Мы живем порознь.

– Ничего не понимаю.

– А вам и не надо понимать, – засмеялась она. Влажно блестели ее глаза, голос звучал певуче, тревожно. – Садитесь к столу. Руки согрелись?

– Совсем, – повеселел Бесстужев.

– Вы как любите закусывать, – говорила она, ставя на стол тарелки, хлеб в вазе, графин. – Острым, селедкой? Или колбасой?

– Давайте все! – шутливо сказал он, сам удивляясь своей смелости.

– Вот это приятно слышать.

Полина наклонилась к нему, волосы зашевелили щеку. Сказала в самое ухо:

– Я очень, очень рада, Юра!

– Чему?

– Вы здесь, у меня.

– Ну, вот, – пробормотал он.

Полина села рядом, откинула со лба прядь волос.

– Наливайте. Мне – вина.

– А за что? За хорошую книгу?

– Можно... Или нет, не надо за хорошую. Хорошую книгу многие читают. Лучше за обычную, за обыкновенную, которая нравится одному.

– Согласен, хотя и замысловато.

Лейтенант не пил давно, с выпускного вечера в училище. Быстро захмелел, стало тепло и весело. Он уже не стеснялся, когда колено его касалось ноги Полины, и женщина казалась ему давно знакомой, будто уже не первый раз они сидели вот так, вместе.

– Давайте еще, – предложил он. – Без путаных тостов – за нашу встречу. И пусть они будут чаще.

– Это искренне?

– Вы меня обижаете! – задвигал бровями Бесстужев.

– Люди часто говорят не думая, под настроение.

– А я думаю.

– Верю! – Полина отодвинулась от него.

Сжимая щеки ладонями, ласкающим, затуманенным взглядом неотрывно смотрела в лицо.

– Что вы?

– Нет, ничего! – тряхнула она головой. – Закусываете вы плохо.

– Разве? Смотрите? – Бесстужев подцепил вилкой сразу три кружка колбасы. – Ну, как? Она одобрительно кивнула, но сказала совсем о другом:

– Вы славный, Юра. Не возражайте – могу же я иметь свое мнение. И я хочу выпить знаете за что? За вашу маму. Она счастлива, наверное, что имеет такого сына.

– Она умерла. Давно.

– Простите.

– За что же? Я у тети воспитывался. – А я в детском доме. Даже не помню родителей.

Бесстужев отодвинул стул, поднялся.

– Действительно, Полина, давайте выпьем за них. За ваших и моих, за их светлую память...

Она молча кивнула.

Лейтенант поставил пустую рюмку, тяжело, всем телом повернулся к женщине.

– Знаешь, я до сегодняшнего дня был очень одинокий. – Юрий с трудом подбирал слова. – Одинокий человек. Я немного пьян, но вы не думайте. Пьяные, наоборот, говорят, что они трезвые. Но это не важно... Дьяконский у меня во взводе хороший парень. Я с ним хочу говорить. И с вами. Мы будем друзьями, да?

– Друзьями? – переспросила она. – Не знаю, Юра.

– Почему?

– Быть другом – это много. Но быть только другом – для женщины иногда мало.

– Я понимаю, понимаю – оробел он, чувствуя, что трезвеет под ее непонятым взглядом. – Я все понимаю.

– Спасибо хоть на этом, – смиренно поклонилась она, а в голосе чудилась убивающая насмешка.

Надо было что-то делать, чем-то ответить, показать, что он не мальчишка. Юрий быстро налил себе водки, выпил один.

– Вы обиделись? – спросила Полина.

– Нет.

– И не стоит. Иногда я бываю злой.

– Ладно. – Он налил еще.

– Не надо, – мягко удержала она руку. – Хочешь, спою?

Полина прищурилась, смотрела куда-то вверх, в темный угол.

У зари, у зореньки много ясных звезд,
А у темной ноченьки им и счету нет...

Голос у Полины грудной, мягкий. Какая-то тоненькая, однозвучная нотка дрожала в нем. Юрию казалось, что вот-вот она оборвется, эта жалобная, из глубины идущая струнка, и женщине будет тяжело от этого. Он положил руку на ее плечо, запел, заглушил голос Полины:

Горят звезды на небе, пламенно горят,
Они сердцу бедному много говорят...

– Ты знаешь? – благодарно улыбнулась она.
– Знаю.
– Ну и не надо ее больше. А то я расплачусь.
– Вот те на!
– Я ее в одиночку пела. Часто... Ну, не будем... Лучше чай принесу. А ты поднос пока поставь гут.

Медный начищенный поднос весело заблестел под электрической лампочкой. Бесстужев подмигнул перекошенному, смутному отображению своего лица, запел:

Он пожарник толковый и ярый,
Он ударник такой деловой,
Он готов затушить все пожары,
Но не хочет тушить только мой...

– У тебя богатый репертуар, – сказала Полина, появляясь с чашками в руках.
– От Патлюка заимствую. Песня в строю – больное место его.
– Противный твой ротный.
– Обыкновенный.
– Нет, противный. С виду лихой, а внутри лицемер. Я всех приятелей Горицвета терпеть не могу. Подобрались такие – перед начальством дрожат. Свое слово даже шепотом сказать боятся. Да и нет у них своих слов... Ты с сахаром будешь?
– Безо всего, только покрепче. Почему лицемер?
– Мы уже скоро год, как разошлись с Горицветом. Жить с ним в одном доме тошно. А он просит – не уезжай. Боится, что узнают в полку, репутация его подмокнет. Ходатайствует, чтобы на Дальний Восток перевели. Уедет туда один, все тихо и мирно.
– Скоро?
– Осенью обещают перевести... Он мне сказал: живи как хочешь, делай что хочешь, только соблюдай форму, чтобы в полку нареканий не было... Вот тебе человек. И Патлюк такой же.

– А разошлись почему? – Голос Бесстужева заметно дрогнул.
– Не люблю.
– А раньше-то?
– А раньше дура была. Окончила техникум, не успела одуматься, осмотреться. Приехал командир, в форме. Ухаживает, девчонки завидуют... Вышла замуж. Он в Средней Азии служил, два года с ним только и виделись, что в отпуску. А сюда вместе приехали. Старик он. Не возрастом, а душой старик. Смеяться не умеет. На двадцать лет вперед всю жизнь рассчитал, знает, когда и какое звание получит. И боится, как бы чего не вышло. Начальник на него хмуро посмотрит – три дня сумрачный ходит. И еще – морковные котлетки ест. Брр! – брезгливо

повела плечами Полина. – Я девяносто четыре дня терпела. Днем отвлекусь – ничего. А вечером, как он вернется, хоть из дому беги... Ну, на девяносто пятый день я ему сказала: собирай свои блокноты агитатора и прочие первоисточники, отдай мне мои тряпки и в эту комнату – ни ногой.

– Так и сказала?

– Ага, – озорно улыбнулась Полина. – Его надо было ударить в лоб, ошеломить, чтобы растерялся. А то пришлось бы мне слушать лекцию о значении семьи в социалистическом обществе... С тех пор так и живем. У нас и коридоры разные. И, знаешь, давай не вспоминать о нем. Была черная страница, а теперь она вырвана.

– Вот и хорошо... Протяни руку, там сверток в шинели.

Полина привстала.

– Ой, духи! Мне? Ну, спасибо, – обрадовалась она, благодарно прижимаясь щекой к его плечу. – И как раз мои любимые... Ты шел только из-за книги, да?

– Нет, не только.

– Ты очень недогадливый, – серьезно сказала Полина. – Неужели ты ничего не замечал?

– Замечал, конечно. Но я думал, что это вообще... Кокетство, что ли... Ну, может, и с другими так...

– А ты видел?

– Пожалуй, нет.

– Пожалуй, – повторила она. – Я помню, как ты первый раз в библиотеку пришел. Смотришь строго, а сам такой молодой-молодой. Спросил у меня, как записаться, и покраснел.

– Это у меня часто бывает, кожа такая.

– Не храбрись. Покраснел – ладно. Но улыбнулся-то как! Потом эта улыбка мне весь день работать мешала. Хорошо улыбнулся, как спящий ребенок.

– Спасибо, – хмыкнул он.

– Нет, правда, так было. Потом Патлюк появился. Спрашиваю: это в вашу роту новый мальчик прибыл? А он: гы-гы, хорош мальчик. Вводом командует...

– Времени-то двенадцать уже! – спохватился Бесстужев. – В роту пора.

– Среди ночи?

– Надо ведь.

– У меня места хватит.

– Дежурство проверю, – упрямылся он, а самому очень не хотелось уходить.

Сидел бы и сидел так, ощущая на плече приятную тяжесть ее головы.

– Оставайся. Я на кухне лягу. Кушетка там у меня.

– Хорошо, – согласился Бесстужев, с трудом сдерживая нахлынувшую радость. – Ну, а свежим воздухом подышать можно?

– Дверь найдешь?

– Постараюсь.

Стоя на крыльце, он жадно курил папиросу, вдыхая вместе с дымом бодрящий, обжигающий горло воздух. Курил торопливо, хотелось скорей вернуться к Полине. Старался не думать ни о чем, гнал от себя все мысли. Пусть будет так, как должно быть.

Когда он возвратился в комнату, Полина возилась на кухне.

– Иди, – сказала она. – Там все готово.

Стол в комнате был уже убран, кровать раскрыта. Юрий снял сапоги, подвинул стул, аккуратно сложил гимнастерку и галифе. Лег, не погасив света. После жесткого матраца непривычно было на мягкой перине. Не шевелясь, напряженно ловил звуки, доносившиеся из кухни. Вот заплескалась вода, звякнуло что-то. Почудилось – всхлипнула Полина. Неужели плачет? Но почему? Хотел окликнуть, но не посмел.

На кухне наступила тишина. Бесстужев хотел уже подняться, загасить свет, когда послышались легкие, крадущиеся шаги.

Полина вошла осторожно. Длинная белая рубашка скрывала ее до самых пяток. Подняв полные руки с ямочками на локтях, потянулась вывернуть лампочку. На одну секунду увидел он плавный изгиб оголившегося плеча, смолянисто-черные волосы под мышкой.

Лампочка мигнула и погасла.

– Не уходи, – шепотом попросил Юрий.

* * *

Игорь развалился на диване, задрав на валик ноги в ботинках, выталкивал изо рта дым, чтобы получались кольца, и лениво следил, как сизые круги, расширяясь и колеблясь, поднимаются к потолку. В комнате было полусумрачно, наступал вечер. Снег на крыше дома через улицу казался фиолетовым. За столом, вполоборота к Игорю, сидел Альфред Ермаков, сосредоточенно шевелил толстыми губами, читая книгу, выписывал что-то. Работал он в нижней рубашке, рассеянно почесывал белую, пухлую грудь. На глазах очки с массивными выпуклыми стеклами.

– Двенадцать, – сказал Игорь.

– Двенадцать – чего?

– Подряд двенадцать колец.

Альфред сдвинул на лоб очки, прищурился.

– Твое поведение позволяет сделать некоторые выводы.

– Давай, послушаю.

– Прежде всего – данный субъект, а именно студент Булгаков, не отличается усидчивостью и трудолюбием. Второе – спокойствию данного субъекта накануне экзамена можно только позавидовать.

– Маркунин меня не завалит.

– А собственная совесть?

– Она подсказывает мне: отдохни, чтобы прийти на экзамен со свежей головой.

– Хорошая у тебя совесть, Игорь.

– Первый сорт.

– А я вот не могу так.

– Тебе и нельзя. Полез в аспирантуру звезды хватать, значит, терпи, гни горб богатырский.

– Я не усну спокойно, если не сделаю все, что наметил.

– Никогда не делай сегодня того, что можно сделать завтра.

– Сам придумал?

– Нет, Марк Твен, кажется.

– Не очень умно.

– Не все умное – правильно.

– Ты сегодня склонен философствовать. С чего бы?

– Поживешь с тобой – зафилософствуешь.

– Приятно слышать, – буркнул Альфред, наклоняясь над книгой.

– Слушай, ученый, закрой талмуд. Все равно заниматься не дам.

– Нельзя же так, Игорь! Опять проболтаем весь вечер.

– Все можно. Завтра уеду, вот тогда и сиди.

Альфред встал, потянулся, грузно переваливаясь, подошел к дивану. Он и сам любил порассуждать и был доволен, что нашел в Игоре терпеливого слушателя.

– Подвинься, – попросил он, садясь рядом. – Должен заявить, Игорь, что ты склонен к деспотизму.

– По отношению к тебе, что ли?

– Не только. К Насте, например. Она чудесная девушка и, вероятно, любит тебя.

– Может, и так.

– А что за отношение у тебя к ней? Она приходит в гости, а ты, вместо того чтобы заниматься ее, посылаешь за папиросами.

– Не посылаю, а прошу.

– Хорошая просьба. «Настя, папирос принесла бы», – подражая Игорю, грубовато сказал Альфред.

– Ну и что? Она же одета была. Спустилась вниз, и дело в шляпе.

– Вообще, ты интересный индивидуум. Этакая завидная провинциальная непосредственность. Ты воспринимаешь мир в его первой философской категории.

– Что-то я такой категории не знаю.

– Естественно. Она существует в моей системе. Я пришел к выводу, что люди по своим восприятиям окружающего делятся на три группы.

– Разжуй.

– Постараюсь, если дашь спички.

– Держи, слушаю.

– Изволь. Человек просто воспринимает факты и явления такими, какими они возникают перед ним. Без анализа причин и следствий. Началась война, погасла спичка, в 1709 году была Полтавская битва, на улице идет снег, умерла Авдотья Филипповна. Ум фиксирует эти факты, и человек подступает, сообразуясь с ними. Если холодно – надевает пальто, принесли повестку – отправляется на военную службу, если скучно – пускает дым в потолок. Все просто и ясно.

– Это мне?

– Именно.

– Ну и врешь, – рассердился Игорь. – У меня до черта путаницы в голосе. Я вот дружу с Настей, а думаю о другой. И Настя знает о ком. Я хочу ей теплое слово сказать, да не получается. Настя это видит. Ей тяжело, и у меня кошки сердце царапают. Это, по-твоему, как?

– Ты говоришь о явлениях другого порядка. Тут превалирует инстинкт, а не философия. Но все-таки это в какой-то мере шаг ко второй категории восприятия, когда человек начинает видеть и понимать всю сложную взаимосвязь фактов и явлений. Это, дружище, самый тяжелый период. Понимаешь все и ничего не понимаешь. Ну, например, погасла спичка. Пустяк, да?

– Пустяк.

– А у меня это сразу вызывает серию вопросов и ассоциаций. Почему погасла? Плохо пропитана серой? Фабрика экономит. У хорошего дела – экономии материалов – появился другой конец и бьет по людям. Если хочешь, эта гаснущая спичка имеет даже политическое значение. В руках зарубежного пропагандиста она явится доказательством, что Советы неспособны делать даже хорошие спички... Возникает мысль, долго ли еще человечество будет пользоваться столь примитивным средством, чем и когда будут заменены спички; вспоминаются огромные пожары, возникшие от крохотного огонька и уничтожившие целые города...

– Хватит! – перебил Игорь. – Понес ты, как лошадь невзнузданная.

– погоди, слушай. Самое главное, что я будто и не думаю обо всем этом. Все возникает мгновенно в различных клетках мозга. Возникает и пропадает, вытесняется другим. И так непрерывно.

– Ты это серьезно говоришь, а? – нахмурился Игорь.

– Вполне.

– Тогда мне просто, жалко тебя. Представляю, сколько у тебя возникает этих... ассоциаций, ежели действительно умрет какая-нибудь Авдотья Филипповна. Рой! Туча! С такой головой в желтый дом – прямая дорога.

– Вообще это очень трудно, – отозвался Альфред, протирая платком очки. – Но я доволен. Глубже осмысливается мир.

– Ну, а третья твоя категория – это уж, наверно, совсем гроб с музыкой? – предположил Игорь.

– Ошибаешься, наоборот. Люди третьей категории способны сразу воспринимать явления и в их простоте, и в их сложности. Понимаешь, человек познает факт. И без особых усилий сразу улавливает, определяет всю его многогранность, взаимосвязь с другими фактами и явлениями, ретроспективу и перспективу. Человек просто и без усилий воспринимает сложное и делает выводы. По-моему, это и есть достоинство великого ума.

– Ты-то лично как, дойдешь до жизни такой? – спросил Игорь.

– Откровенно говоря, не знаю. Пока что у меня в голове сумбур. Нет у меня духовной точки опоры, и в этом, видимо, вся беда. Раньше была идея: марксистское учение, построение коммунистического общества. А теперь и это стало для меня сложно и смутно.

– В комсомоле ты не был зря.

– Думаешь, помогло бы?

– Факт. Потеря бы среди ребят, подучился.

– Я учусь. И чем глубже забираюсь в дебри социальных вопросов, тем сильнее запутываюсь.

– Тогда не читай книги, а долби свою математику.

– Не могу. Мне вот предлагали: вступай в партию. А я не стал. Просто так, чтобы билет носить, вступать не хочу. Разберусь во всем, найду правду, тогда решу. Вступлю, если поверю в идею весь без остатка, и сердцем и головой.

– А если нет?

– Буду думать, искать.

– А чего искать? Надо, чтобы все люди были равны и всем жилось хорошо. Вот и правда.

– Слишком общо, Игорь. Это извечные идеи. Ты же знаешь, что еще Иисус Христос их проповедовал. Христианство потому и завладело умами на много столетий, что счастье и равенство обещало. Потом опошлили это учение, заставили служить корыстными целям.

– Тоже высказался. Христианство – это дым, мечта, рай на том свете. А наше учение на фактах стоит, на экономической основе. В нашей программе все ясно: и чего надо добиваться, и как добиваться.

– Счастье – его беречь надо, оно хрупкое, тонкое. Люди дерутся из-за него и не замечают, как топчут, ломают в азарте это самое счастье: и свое, и чужое.

– Что же ты предлагаешь?

– Не знаю я... Убедить бы людей и за границей, и наших. Жизнь человека коротка, надо, чтобы проходила она спокойно. Пусть люди отбросят жадность, корыстолюбие, злобу, будут добры и терпимы. Ведь земля велика, все могут жить в достатке.

– Ну, убеди, – насмешливо отозвался Игорь. – Гитлера убеди, Круппа, Рокфеллера.

– Нужно убедить, – тихо и горячо произнес Альфред, прижимая к пухлой груди руки. – Нужно, Игорь. Иначе не будет конца жестокости, войнам.

– Неправда! – рывком сел Игорь. – На жестокость – жестокость, на силу – силу. Не ты первый убеждать собрался. Пробовали и без тебя, да не вышло. Мы по-другому будем: кто не гнется – ломаем.

– Это кто – мы?

– Ну... – Булгаков смешался. – Мы вообще, комсомольцы, народ.

– Ты пойми, я же добра хочу.

– А я – зла? Мне тоже хочется, чтобы люди одевались красиво, музыку слушали, каждый день шоколад ели и работали по четыре часа. И чтобы на всей земле так. Захотел: поехал в Африку, древний Карфаген изучать. А там никаких колоний, все живут в свое удовольствие. И чтобы везде один язык был. Тогда совсем здорово.

– Вот, – вздохнул Альфред. – Цель у нас с тобой одна, а пути разные.

– Ничего, до третьей своей категории доберешься и путь найдешь. Совет дать?

– Ну?

– Мужчина ты здоровый, ноги и руки у тебя – во! Ешь много, двигаешься мало. Съездил бы в колхоз, повкалывал бы там. Мускулатуру набьешь, на людей посмотришь. Ты же, кроме Москвы да Крыма, не был нигде.

– А ты?

– Я хоть знаю, на чем хлеб растет.

– Это и мне известно.

– Ну, а манная крупа на чем?

– Гм! – Альфред почесал за ухом. – Раньше говорили, что с неба сыплется, – попробовал отшутиться он.

– С неба, тоже знаток, – презрительно скривился Игорь. – Мак видел? Черные зернышки в коробочке?

– Видел на даче.

– Вот и манная крупа так растет, только коробочки побольше да дырки покрупней.

– Правду говоришь?

– А ты энциклопедию посмотри.

– Обязательно, – сказал Альфред.

– Эх, разве вы живые люди тут, в городе? Одушевленные приборы, вот вы кто, – сердито ворчал Игорь, зашнуровывая ботинки. – Плесенью тут обрастешь с вами. Пойду хоть понюхаю, как свежий снег пахнет.

* * *

И вот сдан, наконец, последний зачет. Игорь съездил в институт, простился с ребятами. Потом до самого вечера ходил с Настей по магазинам, покупал пуговицы, крупу, шапку для Славки – все, что просила в письме мама. Для отца – охотничий нож. Людмилке – цветные карандаши.

Настя оставалась на каникулы в Москве – не имела денег на билет. Игорю неловко было перед ней, старался поменьше говорить об Одуеве.

Уложив покупки в чемодан, долго сидели в комнате, не зажигая света. На батарее сушились Настины ботинки. Девушка, прижавшись лбом к стеклу, следила за снежинками, косо летевшими по ветру. Сказала негромко:

– У нас по пруду ребята сейчас на коньках бегают. А вербы белью, тихие, как заснули.

Игорь, облокотившись о подоконник, посмотрел на нее. У Насти на подбородке дрожала маленькая светлая капля. Сорвалась, упала, горячая, на руку Булгакова.

– Ты к нашим зайти не забудь, – сказала девушка. – Конфеты в кулке розовом, на самом дне.

– Ладно, – насупившись, буркнул Игорь. – Я бы и сам не поехал. Знаешь ведь, мать просит.

– Расскажешь потом про все. – Настя тесней придвинулась к нему. – Лучше бы куда-нибудь в другое место уезжал. Легче бы мне было.

– Да что ты в самом деле! Всего на двенадцать дней расстаемся. Разве это срок? Люди по три года в Арктике зимуют... В тюрьме по десять лет сидят...

- Ну и сидел бы, а я ждала...
- Какая же ты глупая! – засмеялся Игорь, обнимая ее. – Прямо форменная дуреха!
- Ты часто говоришь мне об этом.
- Не выношу умных.
- Мне лестно слышать.
- Не дуйся, а то поругаемся.
- Некогда нам ругаться, – через силу улыбнулась девушка. – На вокзал ехать пора.

Поезд с Курского уходил после полуночи. На обширной площади было безлюдно, стояли несколько засыпанных снегом такси. Постовой милиционер, согреваясь, топтался у фонаря. Под навесом тесной кучкой сбились носильщики.

Посадка уже началась. В вагоны лезли крикливые бабы в нагольных шубах, тащили мешки, деревянные чемоданы. Игорь пробился по коридору. Забросил на свободную полку вещи и вышел на перрон. Настя одиноко притулилась возле закрытого ларька, зябко поводила плечами. Платок был покрыт снегом, белые пушинки оседали на выбившиеся волосы.

- Совсем нет провожающих, – сказала она.
- Поезд недалеко идет, в Серпухове все сходят.
- Ты хоть вспоминай меня, Игорь.
- Конечно, чудачка!

Ему представилось, как пойдет сейчас усталая Настя в своем коротком холодном пальтишке по темным и скользким улицам, будет трястись в пустом промерзшем трамвае. Игорь завтра будет дома, среди своих. А она? Без него, наверно, не сходит даже в кино.

- Настенька!
- Что?
- Холодно тебе? – Он расстегнул пальто. – Давай согрею.
- Не надо, уже звонок был.

Игорь торопливо поцеловал ее, стиснул холодные руки и отпустил только тогда, когда лязгнули буфера, закрипев, качнулись вагоны.

Он стоял на подножке набирающего ход поезда и махал шапкой, пока не скрылась из виду маленькая фигурка.

* * *

Глубоким снегом завалила зима городок, намела косые сугробы возле домов и заборов, белыми шапками прикрыла от мороза кусты, серебряной пылью инея припорошила деревья. Утонув по окна в снегу, осели дома, придавленные отяжелевшими крышами. На улицах протоптаны глубокие извилистые тропинки, тянутся чуть заметные следы полозьев. В камень смерзлись черные кругляши конского навоза. От случая к случаю проедет в санях крестьянин, провезет дрова или картошку в мешках, сверху накрытых сеном.

Короткие и однообразные, быстро пролетали зимние дни. По вечерам зажигались за обледенелыми, в причудливых узорах, стеклами желтые огоньки, манили в теплый, привычный уют. К ночи крепчал мороз, выкатывалась из-за леса большая луна, плыла среди холодного блеска звезд, окруженная золотистым туманным кольцом. В голубом сиянии пышных сугробов сытла глухая тишина. За три улицы слышен был скрип шагов запоздалого прохожего.

Жировали по ночам зайцы, забираясь в окраинные сады, нанизывали по оврагам путаную мережку следов. Из Засеки порой забежали волки, и тогда с хриплым лаем ярились до рассвета собаки.

Первые два дня Игорь мало бывал дома: бродил по улицам, навещал знакомых. Городок будто изменился с тех пор, как он уехал отсюда. Неказистыми, маленькими стали постройки,

сонной и скучной представлялась ему провинциальная жизнь. Не было друзей, Сашки и Виктора, не с кем было пошататься вечерами, поспорить, потолковать.

От нечего делать забрел к Соне Соломоновой, жившей на втором этаже, над почтой. Учился с ней чуть ли не с первого класса, было что вспомнить. Не понравилось только, что мать Сони очень уж предупредительно ухаживала за ним, так и рассыпалась бисером, даже пальто Игоря повесила сама. «Как жениха встречает», – недовольно подумал он.

Соня, тихая девушка с большими печальными глазами и глянцеви́то-черными волосами, часто болела. В августе простудилась, слегла, в институт поступить не успела. Теперь скучала дома, дожидаясь лета. Расспрашивала о Насте Коноплевой и все время тягуче вздыхала – ведь и она собиралась туда же, в медицинский.

Мать ушла, сказав со значительной улыбкой, что дети теперь взрослые и она не опасается оставить их одних. Соня села к роялю. Играла она хорошо, но вещи все были старые – из детского альбома Чайковского. Игорь слышал их в этой комнате еще лет шесть назад.

У Сони очень бледные пальцы. Игорю они казались почему-то холодными, как у мертвеца. На лбу – припудренная засыпь прыщиков. В полутемной комнате пахло лекарствами и чесноком. Игорю стало мутно.

– Пойду я, – поднялся он. – Дома ждут.

На следующий день, в субботу, его уже не тянуло на улицу. До полудня провалялся в постели, потом возился с Людмилкой: делал ей бумажные кораблики и пускал в тазу. После обеда, взяв розовый кулек с конфетами, отправился в Стрелецкую слободу.

Прасковья Петровна, мать Насти, худая, по-мужски широкая в кости, с суровым лицом, встретила Игоря сдержанно. Стояла у печки, окрестив на груди руки, слушала его рассказ. Настин братишка сидел на печке за ситцевой занавеской, высовывал взъерошенную голову. Мать сняла его оттуда, голоногого, в короткой рубашонке, приказала надеть валенки и посидеть с дядей. Игорь взял его на колени. Мальчуган сопел и дичился.

– Ну, помнишь, как я летом приходил, ты тогда еще уток побежал смотреть?

– Я помню.

– Так чего же ты боишься меня?

– Я не боюсь, дяденька, я заробел.

– Ну вот и разобрались, – смеялся Игорь.

Прасковья Петровна вытащила из-за божницы четвертинку, поставила на стол соленые огурцы и картошку. Игорю налила рюмку, себе – в стакан. Выпили за Настю. Повеселевший Игорь принялся вспоминать, как ходили в театр, как жили у Ермаковых вместе, в одной комнате.

– Вы только не подумайте чего-нибудь, – смутился вдруг он. – Мы с Настей друзья.

– Я и не думаю, паренек. Может, оно и к лучшему, что все так. Я-то вот хвора́я стала, не знаю, дотяну ли, пока она выучится. На ее руках ребятишек останется...

– Что вы! Поболее́те и пройдет.

– Не успокаивай, сама знаю, – сурово сказала она. – Ты уж не бросай там Настьку-то. Девке в чужой стороне трудней, чем парню. Присоветуй ей, коли что, успокой.

За разговором не заметили, как наступили сумерки. Игорь посидел бы еще, но дома должны были собраться гости: сегодня день рождения отца.

Вечер, морозный и тихий, светлой синевой подернул сугробы, и синева эта с каждой минутой сгущалась, темнела. Кое-где в домах затеплились уже огоньки. Над базарной площадью, возле колокольни Георгиевской церкви, с криком кружили галки. Стены церкви будто седые – белым мхом наросли на кирпич пушистые пучки инея.

Выпитая водка согревала Игоря. Шагал расстегнувшись, весело поглядывая по сторонам. Из переулка впереди появилась женщина в белом платке, шла не оборачиваясь, спиной к нему.

Пальто плотно облегалo полные бедра, оставляло открытыми почти до колен красивые ноги в резиновых ботиках. У Игоря горячим комком сорвалось в груди сердце. «Ольга!»

Перелез по сугробам на другую сторону улицы, пошел быстрее, почти побежал, стараясь заглянуть в лицо.

Нет, это была не она. Чужой, незнакомый профиль. Игорь почувствовал вдруг усталость и безразличие. Прислонившись спиной к гудящему телеграфному столбу, машинально вытащил папиросу, прикурил. Дальше побрел, не поднимая головы.

Дома собрались уже учителя, товарищи отца по охоте. Мужчины курили возле открытой форточки, женщины смотрели альбомы с фотографиями. Шел общий, волновавший всех разговор – от первой или второй жены дети у нового райвоенкома.

Игоря сразу затормошили, засыпали вопросами. Толстый, с грубым, обветренным лицом лесничий Брагин навалился огромным животом, обнял за плечи, потянул к окну, заполнив комнату гудением могучего баса, рождавшегося в глубине его обширных недр.

– А ну, сынку, повернись к людям, поглядим, как жилось тебе на столичных харчах...

Среди гостей оказалась и Соня Соломонова. Заботливая Антонина Николаевна пригласила ее, чтобы не скучно было Игорю среди взрослых. Игорь даже засмеялся – никого другого мама найти не могла! С Соней только и веселиться! Недаром же еще в школе про нее говорили: если Соломонова улыбнулась, значит, в Засеке медвежонок родился.

Гостей пригласили к столу, началось перемещение из одной комнаты в другую. Воспользовавшись этим, Игорь ускользнул на кухню, к дяде Ивану. О том, что он приехал, догадался еще во дворе, увидев под навесом сани с поднятыми оглоблями.

Дядя Иван выглядел празднично. Чисто выбрит, волосы подстрижены в скобку. Под узковатым в плечах пиджаком – синяя сатиновая рубаша с белыми пуговицами. Солдатские брюки заправлены в кирзовые начищенные сапоги.

Разом вспомнились Игорю летние беззаботные дни в деревне. Крепко обняв дядю, тербил за рукав, расспрашивал радостно:

– Как вы там? Тетя Лена здорова? А галчата твои?

– Все слава богу, – улыбнулся дядя Иван. – Алена кланяться велела.

– Чего же не приехала?

– Хозяйство не на кого оставить. Тебя в гости ждет. Малины, значит, вот прислала сушеной... Василису-то помнишь? Красивой она теперь девкой стала.

На кухню пришел Григорий Дмитриевич, позвал в столовую. У дяди Ивана сразу угасла улыбка.

– Я, Гриш, лучше тут посижу. Дюже у тебя народ серьезный. Я бы пропустил маленькую с Марфой Ивановной и спать. На базар спозаранку.

– Идем, – строго сказал Григорий Дмитриевич. – Там лесничий тебе место держит.

Дядя Иван одернул пиджачок, пригладил рукой волосы, сутулясь, пошел за братом.

В столовой был раздвинут большой стол, покрытый хрустящей, накрахмаленной скатертью. Со всего дома собрали сюда стулья. Закуска была приготовлена славная. По центру стола одна возле другой стояли глубокие обливные миски. В них кислая капуста – красная и белая, моченые яблоки, пупырчатые огурцы своего посола: с перцем, чесноком и листом смородины. В салатницах пламенел рубиновый от свеклы винегрет. Оттаивая, запотевали графины с водой, только что принесенные из холодных сеней.

Жирные каспийские селетки, нарезанные крупными кусками, лежали в стеклянных лотках, открыв рты с пучками зеленого лука его выращивал на окне Славка). Рядом заливная рыба в светлом желе. Тесно стояли тарелки с закуской из магазина – сыром и колбасой. Для любителей был тут и белый, влажный, недавно натертый хрен, и густая горчица.

На маленьком столике возле двери дожидались своей очереди запеченный окорок с розовой корочкой, большие блюда с холодцом и вареное мясо в чашках.

– Вот это по-нашему, по-русски, – басил Брагин, усаживаясь на стул, скрипевший под его тяжестью. – Такой стол и трогать жалко, а ведь придется. Верно, Марфа Ивановна?

Бабка, причесанная по-праздничному, в голубой поплиновой кофте с буфами на плечах, в черной со множеством оборок юбке, будто помолодела, с лукавинкой поглядывала из-под платка.

– Не осуди, Дорофеич, не осуди. Чем богаты, тем и рады!

– Все бы вам скромничать, – грозил ей пальцем лесничий.

Григорий Дмитриевич утром побрил голову, и теперь она, гладкая, желтоватая, блестела под электрической лампочкой. Ворот новой, не надеванной еще гимнастерки врезался в крепкую шею. Рядом с ним – Антонина Николаевна. Синее платье с короткими рукавами не закрывает ее острых локтей. Губы немного подкрашены, и это старит ее. На груди многоцветно вспыхивает камешек в маленькой брошке.

Игоря посадили между мамой и молчаливой, немного испуганной Соней. У Соломоновых гости бывали редко и угощали их обычно чаем. Сейчас девушка была просто подавлена и огромным столом с пузатыми графинами, с дюжиной бутылок вина, и громовым басом лесничего Брагина, и обществом взрослых, среди которых видела недавних своих учителей. Она побаивалась смотреть туда, где сидела завуч школы, женщина средних лет и весьма строгих правил, от которой Соне часто доставалось за пропуски уроков.

Первый тост за хозяина дома произнес смуглый, жуковатый Магомаев, преподаватель физики. Шел ему уже четвертый десяток, но до сих пор каждый год влюблялись в него романтические десятиклассницы, покоренные горячим блеском восточных глаз.

Игорь не слушал длинного замысловатого тоста. Посмеивался над Соней. Налил ей вина в большую рюмку и убеждал шепотом, что первую обязательно положено пить до дна. «Напоить ее до положения риз, чтобы в драку полезла, – весело думал он. Захотелось расшевелить эту тихоню с мировой скорбью в глазах. – Достану огня из нее», – решил Игорь.

После первой рюмки гости притихли, взялись за закуску.

– Яблоки, яблоки берите, – потчевала Марфа Ивановна.

– Погоди, мать, до всего доберемся, – угрожал Брагин.

Дядя Иван неуклюже ухаживал за строгим завучем, навалил ей сразу полную тарелку винегрета, селедки и соленых грибов.

– Допей, допей, – уговаривал Соню Игорь.

– У меня уже голова кружится.

– Пройдет. У всех так сначала. Знаешь, как студентки пьют? Кружками, похлеще ребят. Особенно медички, – врал Игорь. – Тренируйся сейчас, а то пропадешь.

Это подействовало, Соня допила. Мать, заметив, дернула Игоря за рукав.

– Смотри мне. Отвечаешь за Соню.

– По второй пора! – гудел Брагин. – Иван, действуй!

Скоро Соня охмелела, влажно зарумянились щеки, повеселели глаза, выступил на лбу пот. Она тоненько смеялась, слушая Игоря. А его вдруг охватила беспричинная злоба к ней, ненужной ему, чужой, потной, грудастой. Локтем чувствовал ее горячий бок. Усмехнувшись, нашел под скатертью ногу Сони. Ладонь скользнула под юбку. Хотел ущипнуть – не поддалась тугая гладкая кожа. С холодным злорадством смотрел на девушку, ждал: оскорбится, вскрикнет. Но на ее лице удивление сменилось улыбкой, раскрылись мокрые губы. Только порозовела сильней да опустила глаза.

Игорь, сунув руку в карман, долго вытирал пальцы о носовой платок. Злость, всколыхнувшая его, затихала, уходила вглубь.

За столом сделалось шумно. Не было уже общей беседы, говорили, спорили, разбившись на группы. Гости помоложе ушли в соседнюю комнату танцевать. Магомаев пригласил Соню.

Игорь ел, с интересом следя за подвыпившими гостями. Строгий завуч – старая дева – привалилась плечом к дяде Ивану. Тот истово, серьезно слушал ее рассуждения.

– Годы, понимаете, годы жаль. И так мало сделано, так мало. Сидишь вечером одна, подводишь итоги...

Из неразберихи голосов вырывались обрывки фраз:

– Марфа Ивановна, за ваше...

– Свининку люблю, свининку...

– Все мир да мир, прожужжали все уши. И в газетах, и по радио. А знаете, что старики думают: если часто про мир говорят, значит, войны жди...

– В таком разе я, Марфа Ивановна, один выпью...

– Против русского мужика никто не устоит, – доказывал лесничий Брагин. – Русский, он прирожденный боец. У нас и одежда солдатская, обратите внимание. В Европе там народец мягкотелый, штиблеты да галстуки. А у нас – сапоги. Только рубаху на гимнастерку смени – и сейчас в строй. Сегодня с косой, а завтра с винтовкой.

– Эй, танцоры, еще по рюмке! Наливай, Дорофеич!

– А может, хватит, мужчины?

Черный Магомаев, появившийся в дверях, крикнул гортанно:

– Кто говорит хватит? Зачем на столе водка?! Пей водку! – и, гикнув, пошел вприсядку:

Эх, пить будем, я
Эх, гулять будем,
А смерть придет —
Помирать будем!

Испуганная, спиной пятилась от него Соня.

– Абрек, кинжал дать?

– Ножик ему!

– Не надо кинжал, я мирный. Рюмку за пляску! Григорий Дмитриевич, разрешаешь?

– Безвозбранно.

Снова уселись за стол. Шли теперь под горячую закуску: жареную гусятину с капустой.

– Марфа Ивановна, голубушка! Вы волшебница, а не хозяйка. Я вам волка за такое угощение привезу, – обещал расчувствовавшийся Брагин.

Соня горячо шептала в ухо Игорю:

– А Магомаев танцует как замечательно... На уроках строгий был... Он мне руку поцеловал.

– Ну и дурак, – сказал Игорь.

– Почему? Неудобно, да?

Булгаков только хмыкнул: прикаться губами к этой холодной мокрой руке? Тьфу!

Спели хором несколько песен и перешли в другую комнату, ожидая, пока женщины соберут чай. Брагин пустился в пляс. Выпятив живот, уперев в бока могучие руки, шел, притопывая, по кругу, бил чечетку, оглушительно рвал слова:

Эх, топор, рукавица,
Жена мужа не боится,
Рукавица и топор —
Жена мужа об забор!

– Обирючел ты совсем, Егор, в лесу сидючи, – щурила глаза Марфа Ивановна. – И песни-то у тебя разбойные.

- А я и сам Соловей-разбойник, Муромца на меня нету!
- Так свистни!
- Р-разойдись, оглушу!
- Эх, топор, рукавица...

Игорь вышел в сени взять из кармана пальто спички, но там сидели на сундуке дядя Иван и потерявшая свою строгость завуч. Они смутились. Игорь поспешил уйти. В комнате танцевали под патефон. Длинный носатый землемер, выставив локти, осторожно водил Соню. Григорий Дмитриевич тяжело и неуклюже топтался возле Антонины Николаевны. Мама улыбнулась Игорю, кивнула из-за плеча отца.

Возле накрытого к чаю стола сильно захмелевший Брагин обнимался с Магомаевым, басил:

- Друг, мы с тобой Маннергейма били?
- В ключья! – кричал Магомаев, страшно сверкая глазами.
- Мы этих... разобьем... Этих японцев, – покачивался Брагин. – Ты, друг, волков ко мне приезжай бить!
- Разобьем! – обещал Магомаев. – Завтра приеду, всех разобьем!

Игорь послушал, побрел на кухню. Им опять овладело тоскливое чувство одиночества. Захотелось выйти на улицу, в тишину, на чистый морозный воздух. Закрыв на минуту глаза: смутно всплыло перед ним лицо Ольги, косы, переброшенные через плечи. Он затряс головой, чуть не застонал от боли, стиснувшей сердце. Схватил графин, опрокинул его над стаканом и, не глядя сколько, выпил до дна водку, даже не почувствовав ее крепости. Взял огурец.

Растрепанная, красная вбежала Соня, крикнула со смехом:

- Вот ты где, обжора! Не наелся? А там чай пьют.
- Хочешь я провожу тебя? – хмуро спросил Игорь.
- Меня? – вытянулось ее лицо. – Но...
- Времени знаешь сколько? Одиннадцатый уже. Да и надоело мне здесь. Пойдем, что ли?
- Пойдем, – вяло согласилась она.

Игорь первым вышел во двор. Жадно хватал ртом холодный воздух, чувствуя, что от него ясней становится голова.

– Погуляем? – предложила Соня. – Я очень лунные ночи люблю. Все так неестественно, красиво. Как в театре. А тебе нравится?

– Ну, еще бы, – рассеянно ответил Игорь. Он думал, что и Ольга, может быть, вышла сейчас на улицу. Вот бы встретить ее! Или просто пройти хотя бы мимо Дьяконских... Если есть свет – стукнуть в окно. В темноте Ольга ничего не увидит, а он увидит ее.

Торопил Соню, даже подтолкнул, когда она остановилась. Девушка обиделась и замолчала. Игорь довел ее до почты, пожал руку и пошел в нижнюю часть города. Боялся сейчас одного – не пропала бы решимость.

Под валенками звонко хрустел снег, и звук этот, казавшийся слишком громким в ночной тишине, пугал Игоря. Он поднял воротник пальто, чтобы не узнали прохожие. Свернул в переулок, посмотрел направо, налево – никого нет. Перемахнул через невысокий забор, по колено в снегу выбрался к колодцу, на скользкую ледяную тропинку. «Сейчас или никогда... О Вите спрошу», – пронеслось в голове.

Свет горел только в одном окошке, выходившем во двор, – в комнате Ольги. «Читает, наверное...»

Было нестерпимо жарко, бешено колотилось сердце, и удары его отдавались в висках. Игорь подкрался к окну, встал на завалинку. За обмерзшим стеклом ничего нельзя было различить. Легонько, костяшками пальцев, постучал в раму. По стеклу промелькнула тень, и сразу вспыхнул свет в соседней комнате. Игорь побежал к крыльцу. Хлопнула дверь внутри дома, знакомый встревоженный голос спросил:

– Мама, ты?

– Открой, Оля.

Молчание показалось очень долгим. Голос Ольги прозвучал неуверенно:

– Кто это?

– Это я, Игорь Булгаков.

– Сейчас, сейчас.

Она долго возилась с засовом, никак не могла открыть.

– Проходи... Ну, проходи. – Ольга прижалась к стене, пропуская его, руки теребили, дергали косу на груди.

– Веник бы, в снегу я.

– Вот в углу... Напугал ты меня. Мама недавно на дежурство в больницу ушла. Вдруг – стучат. Думала, случилось что...

– Я не разбудил?

– Нет.

– Виктор пишет?

– Вчера получили. Я покажу потом. Раздевайся.

Ольга ушла в свою комнату. Игорь видел через дверь: накрыла одеялом кровать, скомкала и сунула под подушку что-то белое. Вешая пальто, чувствовал, что улыбается натянуто и глупо. Стиснув зубы, чтобы овладеть собой, шагнул в комнату. Гибкая и высокая Ольга повернулась к нему, растерянно улыбнулась, придерживая халат на груди.

– Вот, приехал я, – сказал Игорь, садясь на краешек стула.

Ольга робко, боком подвинулась к нему и вдруг, охнув, горячими руками охватила его голову, прижалась щекой к его лбу, гладила волосы, шею, говорила, говорила что-то бессвязное, жалкое. Распахнувшийся ворот халата открыл смуглые груди, темную между ними ложбинку. Запах ее кожи дурманил Игоря, путал мысли.

– Пришел наконец, – шептала Ольга, опустившись возле него на колени.

* * *

Волчий выводок дядя Иван выследил еще по чернотропу. Едва выпал снег, начал приваживать стаю, чтобы не уходила далеко от своего логова. Вывозил на скотомогильник падаль, волки по ночам сжирали ее, оставляя на снегу кости, до блеска отшлифованные зубами. Сытые, прямиком, ступая след в след, уходили в глухое урочище, в глубокий, заросший кустами овраг на краю леса.

Надо было торопиться с облавой. Скрываясь днем в урочище, волки ночами навещали окрестные деревни верст на десять вокруг, резали неопытных собачонок, гусей; в Стоялове сгубили молодого телка. Иван беспокоился: близилось время волчьего гона, когда стаи рассыпаются, и волчицы, тревожимые самцами, не спят днем, переходят с места на место.

У Булгаковых на празднике обговорили детали облавы. Старшим команды выбрали Егора Дорофеевича Брагина, охотника заядлого, знающего все порядки.

Председатель стояловского колхоза, не чаявший как избавиться от волков, прислал в город три подводы. На них выехали Григорий Дмитриевич с Игорем, Магомаев и еще трое охотников. В Стоялове, где провели ночь, к ним присоединился лесничий Брагин.

В поле вышли незадолго до рассвета. На полпути команда разделилась. Охотники остановились покурить. К лесу отправился дядя Иван, захватив флажки для оклада. С ним ушли пятеро стояловских мужиков-загонщиков. Припадая на левую ногу, прохромал мимо Игоря пасечник Герасим Светлов в пушистой заячьей шапке. Дед Крючок взял с собой берданку. Брагин отобрал у него патроны – загонщику стрелять нельзя, – но с берданкой дед не расстался.

– Пушай хоть ружье будет, – говорил он, вытирая рукавицей сизо-красный нос. – Без оружия нам иттить никак невозможно. Армяк у меня чужой. Случись чего – мне тогда Федька Кривцов голову с корнем скрутит.

По жеребьевке Игорю и Григорию Дмитриевичу места достались рядом, у верховья оврага, на самой волчьей тропе. Лес тут был редкий, поодаль друг от друга стояли толстые березы в пухлом белом убранстве. На рыжевatom снегу выделялась цепочка свежих следов с бороздками между глубокими ямками. Волки, возвратившись с ночного набега, недавно прошли в овраг.

Справа появился дядя Иван, подвязал к ветке красный флажок, полез по сугробам дальше, разматывая бечеву. Где-то слева окладывал овраг Герасим Светлов.

Игорь, утопав снег, плотно прижался спиной к березе. Держал навскидку ружье, настоженно поводил глазами по сторонам. Вокруг было пустынно, только из-за дальнего дерева торчал ствол ружья – там затаился отец.

День выдался пасмурный. Одноцветная белесая пелена заволокла небо. Было сумрачно. В глубине леса надрывалась, трещала сорока. Игорь чувствовал себя каким-то возмужалым и обновленным. Это ощущение новизны началось у «его в то утро, когда вернулся он на рассвете от Ольги. Дома все спали, гости разошлись часа в три. Про Игоря думали, что он остался у Соломоновых. Открыла ему Марфа Ивановна, назвала обормотом. Игорь засмеялся, обнял ее. «Тише, оглашенный», – улыбнулась бабка.

А поздно вечером Игорь, крадучись, снова ушел к Ольге. Возвратился с зарей, опустошенный бессонной ночью, счастливый от впервые испытанной близости к любимому человеку. Открылась для него новая сторона жизни, о которой раньше только догадывался: полная безмерной радости до самозабвения, обогащавшая его, раздвигавшая прежние представления. То, что совсем недавно казалось серьезным, становилось смешным и ненужным. А слово «любовь», которое прежде бездумно и часто вырывалось у него, наполнилось тайным смыслом, стало своим, сокровенным.

По-новому ощущал он и свое тело. Выбрав время, когда никого не было в комнате, раздевался до пояса, смотрел на себя в зеркало, радуясь, что у него широкие плечи, что под гладкой кожей крепкие набухают на руках мускулы.

Теперь Игорь принадлежал не только себе. О чем бы он ни думал, невольно и подсознательно в мыслях его всегда присутствовала Ольга, была незримой соучастницей всех его дел.

Неприятно было то, что мать в последние дни сухо и сдержанно обращалась с ним, будто он оскорбил ее чем-то. Отец, хоть и хмурился чаще обычного, говорил с Игорем спокойно.

С дальнего конца оврага донеслись приглушенные крики, удары палок по деревьям. Это пошли загонщики, выгоняя волков из логова вверх по оврагу, оцепленному с обеих сторон красными флажками. Игорь вскинул ружье. Гладкое ложе холодило правую щеку.

Загонщики приближались, крики становились отчетливей. Прислушиваясь к шорохам, Игорь напряженно всматривался в кусты. Глаза застилало туманом, но он боялся пошевелиться, поднять руку, чтобы вытереть их.

Выстрел, гулко раскатившийся слева, заставил Игоря вздрогнуть. «Туда пошли!» Он повернулся в ту сторону и вдруг увидел волка. Вытянув длинное серое туловище, волк медленно крался, почти полз шагах в двадцати от него, совсем не там, где ждал Игорь. Прижав острые уши, оскалив красную пасть, он спружинился перед поваленным деревом, собираясь прыгнуть.

Серый ком легко взлетел в воздух, и в эту секунду Игорь нажал курок. Волк ткнулся головой в снег, вскочил, стремительно метнулся в сторону. Игорь, уже не видя его, ударил вторым зарядом, побежал, увязая в сугробах.

В лесу бухали выстрелы, и совсем близко, и в отдалении.

Возле поваленного дерева Игорь увидел на примятом снегу ярко-красные, глубоко запавшие пятна.

– Ну, где он? Упустил? – выскочил из кустов дядя Иван, потный, с засунутыми за пояс рукавицами. – Эх, упустил, парень! Матерый на тебя шел!

Игорь молча указал на кровавый след.

– Иван, тут он! – крикнул Григорий Дмитриевич.

– Ну-у-у! Я думал – Игорь стрелял!

– Я подранка добил!

Волк лежал на боку, вытянув лапы. От красного, мокрого языка, вывалившегося на снег, шел еще легкий парок.

– Хорош зверюга! – удовлетворенно говорил Григорий Дмитриевич, наклонившись над ним. – Достань-ка кисет, Иван. Замучился без курева, пока стоял... Но ты смотри, до чего же живуч, черт. Игорь ему в шею две картечины всадил, а он галопом на меня выскочил.

– Волчица ушла, – свертывая папиросу, рассказывал дядя Иван. – Как услышала выстрелы, назад повернула. Возле оклада проскочила. Опытная, видать, стерва. Дед Сидор ее в упор видел. И трех переярков с собой увела.

Игорь, опершись на ружье, рассматривал волка. Вблизи он не казался серым, густая шерсть его имела красноватый, ржавый оттенок. Вдоль спины по хребту тянулась ремнем черная полоса. Лобастый, широкогрудый, с подтянутым животом и сильными ногами, он и сейчас, мертвый, был по-своему красив. Его полуприкрытые, остекленевшие глаза с укором глядели на Игоря, будто спрашивали: «Зачем ты убил меня? Что я тебе сделал?»

Игорь отвернулся. Стало жаль этого ловкого, быстрого зверя, без движения валявшегося теперь на снегу.

– Ты что молчишь, парень? – обратился к нему дядя Иван.

– Так... Ноги замерзли.

– А мы вот выпьем сейчас для сугреву.

Подшли остальные охотники и загонщики, притащили еще трех добытых волков: двух молодых и одного покрупней – переярка. Брагин приказал всем разрядить ружья.

Уселись тут же, кто на пенек, кто прямо на снег, достали четыре бутылки водки. Дядя Иван охотничьим ножом резал сало.

– После честного труда выпить рюмку нет вреда, – гудел Брагин, казавшийся огромным в белом халате поверх полушубка.

Григорий Дмитриевич, опрокинув в рот стопку, провел ладонью по губам, крикнул.

– Люблю жизнь охотничью... Как на фронте, бывало...

– Тут еще почище, чем на фронте, – прожевывая хлеб, торопливо заговорил дед Сидор. – Я на ерманской войне такого страха, как сегодня, не натерпелся. Эта волчица на меня ажик с рыком кинулась. Ей-богу, – перекрестился он. – Я оступился и в снег. А переярки через меня. Герасим сбрехать не даст, он видел. Один зубами – хрясть! Думаю все – отходил Сидор по этому свету. А он, стервец, промазал, по армяку клыком полоснул. Гля, дырка какая, – показывал Крючок порванную полу. – Чего я теперь Федьке скажу? Он с меня душу вынет или волчиную шкуру потребует.

– Эй, дед, дед, ты к шкуре не подбирайся, – смеялся Брагин. – Шкуры сдадим и деньги поровну. А армяк твой еще раньше дырявый был.

– Промежду прочим, ты в этом деле первый виновник, – наступал на лесничего Крючок, щуря замаслившиеся от водки глаза. – Кто это приказал из берданы патроны вынуть? Ты приказал! Эти волки только по дураости меня не затерзали. Я перед ними как малый ребенок лежал, борода в снегу и копыта врозь. А советская власть что говорит? Нынче каждую кадру беречь надо.

– Значит, я против власти пошел? – приседал от смеха Брагин.

– А ты как думал! – хорохорился Крючок, воинственно выставив жиденькую бороденку. Не понять было, шутит или говорит серьезно. – Ты хоть и партийный, а правительственных решений не знаешь.

– Я, дед, охотничий закон знаю: загонщик оружия не имеет. Всадил бы ты в охотника порцию дробы – это бы действительно кадр был.

– Моя дробь, Дорофеич, для охотника безопасная. Ей только птицу бить, да и то ежели впритык с самого заду. Ты бы мне еще рюмашку плеснул, а сам посмотрел. Патроны-то в твоём кармане лежат.

Пока дед Крючок возился с бутылкой, Брагин, посмеиваясь, выковырял из гильзы бумажный пыж. На широкую ладонь горкой высыпалась из патрона белая соль.

– Давай сюда, на хлеб мне, – сказал дед Крючок. – Хлеб с солью он всегда вкусный.

Дружный смех вспугнул стаю ворон, рассеявшихся было на соседних деревьях. Каркая, хлопая крыльями, закружились вороны над лесом, не отлетая далеко от того места, где валялись убитые волки, – чуяли мертвечину.

* * *

Темнота в комнате чуть-чуть поредела. Зарозовели стекла в окне, отчетливей проступили на них жилки ледяного узора. Игорь лежал с открытыми глазами, не шевелился, чтобы не разбудить Ольгу. Она спала рядом, прижавшись щекою к его руке. Полуоткрытые, припухшие губы совсем близко возле его рта. Рассыпались по подушке густые волосы. На белой коже лица двумя темными полудужьями выделялись сомкнутые ресницы. То ли тень, то ли синева густела у нее под глазами.

С тоскливой радостью смотрел Игорь на эту красивую женщину, навсегда теперь родную ему. Как можно жить без теплоты ее тела, не ощущать ее губ, не видеть ее глаз! Бросить бы ко всем чертям институт, увезти Ольгу с собой в Москву, работать и знать, что впереди у тебя целый вечер с ней, целая ночь...

Вздых Игоря разбудил ее, она живо приподнялась, спросила испуганно:

– Поздно уже?

– Нет. Полежим еще.

– Полежим, – согласилась она. – Последние наши минутки.

– У нас еще вся жизнь впереди. Дай только институт кончить.

– Три года ведь.

– Ну, три... Я вот обмозгую, как тебя в Москву вытащить. Проживем как-нибудь. Есть же у нас студенты семейные. Кончу институт – ты в институт пойдешь.

– Не торопись, я ждать буду, сколько захочешь. Только вот с учебой у меня ничего не выйдет, наверное...

– Боишься на экзаменах провалиться?

Ольга беззвучно засмеялась, прижалась губами к его уху, ответила шепотом:

– Хочу, чтобы у нас был ребенок.

– Зачем? – удивился Игорь.

– Теперь уже поздно спрашивать, – снова засмеялась Ольга. – Мне кажется, он уже есть. Маленький человек – твой и мой. Мы вдвоем будем ждать тебя.

– Вообще говоря, это здорово, – задумчиво произнес Игорь. – А когда же он... Это самое... Когда он родится? Через девять месяцев, да?

– Осенью.

– Значит, после каникул...

– Ну, встаем, а то мама скоро с дежурства придет.

Ольга поднялась, бесшумно прошла по ковру к зеркалу. Стояла полуобнаженная, спиной к Игорю, расчесывая большим гребнем волосы, сбегавшие по ее телу ниже пояса.

– Ты совсем меня не стесняешься, Оля.

– А зачем? – удивилась она. – Ведь я же твоя, Игорек, люблю тебя... Не нравится? Оде- нусь сейчас...

– Нет, нет! Это я просто так.

– Знаешь, Игорь, – сказала она, – вот уезжаешь ты, а мне все равно хорошо. Раньше я мучилась, ждала тебя и не верила, что вернешься. А теперь одной оставаться не страшно. Дело ведь не в расстоянии, правда? Ты теперь все равно со мной, где бы ни был.

– А мне тоскливо.

– У меня это, «наверное, потом придет. А сейчас я такая спокойная и счастливая – просто сама удивляюсь.

– Так лучше, Оля. Лучше расставаться без слез. Я буду помнить тебя спокойной, и самому веселей будет.

– Давай условимся – думать друг о друге каждую полночь. Не вообще думать, а говорить, рассказывать, что за день случилось. Будто встречаемся по-настоящему.

– Обязательно.

Ушел Игорь, когда уже совсем рассвело. Обнялись последний раз в коридоре, поцелова- лись. Встав на стул, Ольга открыла форточку, смотрела ему вслед.

Потом она затопила печь. Делала привычную работу и с тревогой ждала, что вот-вот нахлынет на нее страшная черная тоска, свалит на кровать, заставит кричать, биться головой о стену. Но тоска не приходила. Была светлая радость и ощущение полноты жизни. Подумала: если будет ребенок, придется шить к лету широкую блузу.

Вскоре вернулась с работы Наталья Алексеевна. Вид у нее был усталый. За завтраком поела она неохотно и немного, вяло рассказывала больничные новости. Она поняла, конечно, что и эту ночь Игорь провел здесь. Ее укоризненный взгляд смущал и раздражал Ольгу.

Наталья Алексеевна замечала все – и темные круги возле глаз на осунувшемся лице дочери, и ее сонливость днем, и нетерпение по вечерам. Радовалась, что пришла, наконец, к Ольге настоящая любовь. И больно было матери оттого, что Игорь появляется тайком, что так плохо, не по-людски складывается у дочери жизнь.

Сегодня решилась, наконец, поговорить с Ольгой. Раздевшись, легла в постель, подозвала к себе.

– Сказать хочу кое-что.

Ольга сразу сжалась, насторожилась внутренне, приготовилась защищаться.

– Об Игоре? – Голос выдал ее волнение.

– Постарайся понять меня правильно. Я ничего не имею против него. Он хороший маль- чик, и с Витей дружен. Но меня коробит скрытность.

– Мама, ты знаешь...

– Да, да, – слабо махнула она рукой. – Ты виновата перед ним, это бесспорно. Но сколько же может так продолжаться? Ведь ты относишься к нему как к мужу?

– Конечно, – решительно сказала Ольга. – Он мой муж. И будет им всегда.

– Дай господи, доченька. – Наталья Алексеевна погладила ее плечо. – Это было бы очень хорошо. Но ты пойми другое. Опять начались пересуды. Мне стыдно смотреть на людей.

– Плюнь на них! – У Ольги напряженно звенел голос.

– Сплетничают ведь. Лето вспоминают, Горбушина...

– Пусть, – через силу усмехнулась Ольга. – Пускай вспоминают. Этим мещанам только дай повод поговорить, они кого хочешь грязью обольют.

– Но что же делать?

– А ничего. Не обращай внимания. И не надо об этом, мама. – У Ольги кривились губы, она с трудом сдерживала слезы.

– Может, ты скажешь, чтобы Игорь не ходил к нам?

– Нет!

– Подумай, Оля, так будет лучше.

– Нет! Нет! Нет! – истерично выкрикнула Ольга. – Пусть сплетничают, пусть шушукуются! Нарочно буду по улицам с ним ходить! При всех целоваться буду!

– Успокойся! – поднялась с кровати испуганная мать.

– Сами грязные, гадкие! Какое им дело до меня? Зачем они лезут в мою жизнь? Ох, как мне противно! – всхлипнула она, бросившись грудью на стол.

Все тело ее сотрясала нервная дрожь. Глядя на нее, беззвучно плакала и Наталья Алексеевна.

– Он ведь уехал, мама, уехал он, – бессвязно говорила Ольга. – До лета ведь он уехал!

– Не знала я, доченька!

– Игорь уехал, мама! – задыхалась она.

Наталья Алексеевна наливала из графина воду, стакан ходуном ходил в ее руке. Не спуская глаз с Ольги, шарила по столу, отыскивая пузырек с валерьянкой.

* * *

Пока Игорь находился в Одуеве, у Альфреда Ермакова неожиданно и круто изменилась жизнь. Для завершения диссертации ему не хватало материалов. Руководитель предложил поехать на год в Ленинград, поработать там младшим научным сотрудником.

Альфред снял маленькую комнату на улице Марата у немолодой одинокой вдовы. Комнатка оказалась очень тихой. Можно было спокойно отдыхать, работать по вечерам.

В научно-исследовательском институте, в который направили Ермакова, ему пришлось заниматься вопросами автоматизации производства. Альфред впервые столкнулся с практическим применением в технике высшей математики. Новое дело заинтересовало его. Мысли, не дававшие покоя в Москве, сами по себе отодвинулись на задний план, теперь ему просто не хватало времени размышлять о путях развития человеческого общества, искать правду и смысл жизни.

Возвращаясь из института, он покупал в магазине пачку папирос, колбасу и булку. Пожевав всухомятку, если вдова не предлагала чаю, садился за расчеты.

Рыхлая, болезненная и жалостливая хозяйка, которую все в квартире звали Сазоновной, первое время молчком приглядывалась к постояльцу, на кухне рассказывала соседям:

– Ох, наживет он себе чахотку, сердешный. Мысленное ли дело – день работает, вечер работает. Все пишет что-то. Пачку папирос выкурит, не заметишь как.

– Он у тебя бугай здоровый, – смеялся старичок пенсионер, бывший мастер пуговичной фабрики. – В его годы я по две пачки смолил.

В квартире скоро привыкли к новому жильцу, стеснительному и «неуклюжему, с добрыми глазами под толстыми стеклами очков. В любые морозы ходил он по улице без шапки. Сначала думали, что простудится и сляжет. Но Ермаков не болел. Постепенно перестали удивляться и этому.

С каждым днем явственней ощущалось приближение весны. Все чаще напоздали с моря сырые туманы, снег в парках лежал ноздреватый и грязный. Капало с крыш, блестели на тротуарах первые лужицы.

Альфред в одиночку бродил по улицам, подолгу простаивал перед вздыбленными конями на Аничковом мосту, перед массивной и стройной колоннадой Казанского собора. Чем больше знакомился он с Ленинградом, тем диковинней и прекрасней казался ему город. Не было здесь

московского разнобоя, смешения архитектурных стилей всех времен, не было кирпичных десятиэтажных кубов рядом с деревянными домишками. Все выдержано в строгом вкусе. На первый взгляд однообразными казались дома, но стоило присмотреться, и становилось ясно, что у каждого здания свое, неповторимое лицо, своя красота. Все они, вместе взятые, сливались в гармоничный ансамбль.

В этом туманном, нешумном городе застыла и окаменела навсегда история славных столетий Российского государства, воплощенная в памятниках и дворцах, в мостах и музеях. Великие тени продолжали жить здесь, в романтических сумерках северной столицы. И заставляло волноваться, думать о прошлом уже одно то, что воздухом этого города дышали Петр Первый и Пушкин.

Особенно любил Альфред ходить вдоль Мойки, через Марсово поле к Кировскому мосту, возле которого вечным часовым стоял отлитый в металл Суворов, вглядывавшийся за широкий простор Невы, где плыл среди облаков тонкий шпиль Петропавловской крепости, а в солнечные дни нежно голубел эмалевый «купол мечети.

Дул с Балтики ветер, тугой и влажный, звал в неизведанные дали, тревожил, лишал покоя. В мглистые вечера сумрачно было на улицах, оранжевые «руги» появлялись вокруг фонарей. Расплывчатыми, смутными казались человеческие фигуры, пересекавшие полосы света и исчезающие в дымчатой полутьме. Альфреда в такие вечера томило предчувствие близкой таинственной встречи. Какой, с кем? Он не думал об этом. Подолгу стоял на мостах, настороженно прислушиваясь к голосам. Ему все казалось, что кто-то окликнет его.

Однажды после работы он ждал на остановке трамвай. В левой руке – мелочь на билет, в правой – книга. Читал «Бегущую по волнам», весь ушел туда, в свежий ветер, в голубую морскую дымку, к людям, благородным и чистым, не замечал, что происходит вокруг. Услышав голос: «Берите билеты», инстинктивно протянул деньги. За спиной раздался негромкий смех. Альфред оторвался от книги. Перед ним стоял трамвай, из открытого окна высунулся кондуктор.

Отдернув руку, Альфред отступил назад. Девушка в сером пальто и голубом берете прошла мимо, улыбнулась ему. Запомнились темные с поволокой глаза – больше ничего не успел рассмотреть.

Девушка села в трамвай и уехала. Альфред дождался следующего, вскочил, протолкался поближе к выходу. На каждой остановке прижимался к стеклу, искал взглядом серое пальто, берет...

Вернувшись домой, он закрыл за собой дверь на крючок и бросился на кровать. Лежал навзничь и думал, что пора, наконец, взять себя в руки, заняться делом, а не фланировать по улицам, как одуревший от весны мальчишка.

За ночь Альфред выкурил не одну, а две пачки папирос. Лежал, ходил и ложился снова. Надо было обдумать, что делать дальше. Прежде всего он решил никогда больше не заниматься философией и политикой. Одной жизни мало, чтобы досконально познать все. Он математик. Вот и прекрасно. Он будет отдавать свои знания и свой ум людям. Пусть его знания помогают строить дома и машины. Это вечно и просто, это всегда нужно человечеству... А все, что мешает делу, отбросить. Романтика, девушки – это не для него.

На следующий день он пошел из института прямо домой. Развернул чертежи, начал было проверять расчеты, но голова работала плохо, никак не мог сосредоточиться. Хотелось на улицу, в толпу, к людям.

Альфред задумчиво смотрел на запотевшее, с каплями воды, стекло окна и вдруг поймал себя на том, что ищет рифму к слову «берет». Рифмовалось что-то несуразное: «обед», «велосипед». Стихи не получались. Но сама идея заинтересовала его. Что, если действительно начать писать? Ведь в стихах можно излить душу, в них оформится по неясное, что не дает покоя ему. Но о чем писать?

В голове проскальзывали обрывки фраз, возникали строки «Земля – родная моя», «вновь – волнует кровь». Но это было банально и уже встречалось. Надо, чтобы получилось что-то свое, пережитое, оригинальное. Он достал чистый лист бумаги, карандаш, закурил и прикрыл ладонью глаза. Мысль пришла почти сразу, и даже не мысль, а какое-то настроение, ощущение какой-то певучей грусти. Он уже знал, что напишет, требовалось только подобрать рифму. Но и рифма возникла как-то помимо его воли, сама собой. Минут через двадцать стихи были готовы. Альфред встал, открыл форточку и с наслаждением потянулся.

Было еще де поздно, раньше в это время он бродил по городу. Где бы он был сегодня? На стрелке Васильевского острова? Од представил себе легкий, воздушный портик Биржи, ростральные колонны над темной Невой, тихий плеск воли о гранитную набережную, огни фонарей, отражающиеся в воде.

«Все-таки хорошо! Очень хорошо!» – улыбаясь, подумал од и взял со стола лист. Стихи показались ему чужими и слишком уж жалостливыми.

У меня душа болит, как рана,
Излечить способна только ты.
В ленинградских сумрачных туманах
Заблудились светлые мечты.

Без тебя, как прежде одинокий,
Буду жить над грустною Невой.
Я люблю простор ее широкий
И тебя, незримый спутник мой.

С минуту Альфред стоял не двигаясь, будто вслушиваясь в самого себя. Недоумевающе пожал плечами, скомкал бумагу и бросил ее в угол.

– К черту! – громко оказал он. – До чего же измельчал род человеческий, а? К черту душевные раны, я жить хочу! Меланхолию к черту, – повторял он, надевая пальто.

Нарушив свой распорядок, Альфред в двенадцатом часу ночи ушел в город.

* * *

Игорь обдумывал, с чего начать разговор. Шагал крупно. Настя едва поспевала за ним, искося, отчужденно поглядывала на него. По улице Карла Маркса они дошли до Разгуляя. Настя спросила сухо:

– Куда мы летим так? Мне жарко.

– И мне... Я не тороплюсь.

– Ты хочешь сказать что-то?

– Я? – Он удивился ее догадливости. – Хочу, но откуда ты знаешь?

– Это же видно. Ну, слушаю.

– Пройдем туда, на аллею.

В сквере было пустынно. Под тяжестью снега поникли кусты. Холодным блеском искрились на сугробах молодые снежинки. Колокольная Елоховской церкви, облитая молочным светом луны, резко проступала на фоне иссиня-черного неба. Мрачно зияли провалы звонниц.

У Насти из-под платка выбились на лоб кудряшки, будто седые от белой изморози.

– Ты что это, завилась? – удивился Игорь. – Вот это номер! А я и внимания не обратил! Вижу, изменилось что-то в тебе, а что – не пойму.

– Ты и платье не заметил, – с горечью сказала она.

– Какое платье?

– На мне, новое.

– Ну? Купила?

Насте многое хотелось рассказать ему. Как ждала от него писем и мучилась, не получая их, как работала это время кондуктором в трамвае, чтобы купить новое платье, как отмечала на календаре дни, оставшиеся до его возвращения. Но Игорь был чужой, равнодушный.

– Что-то произошло у тебя? – спросила она.

– Произошло.

Злая решимость в его голосе заставила девушку болезненно сжаться. Омертвели, стали непослушными губы. Произнесла почти шепотом:

– Что же?

Игорь, отвернувшись, сказал глухо:

– Я люблю Ольгу.

– Ты... Ты видел ее?

– Не только видел, каждый вечер ходил к ней, каждую ночь. – Игорь торопился сразу высказать все. – Ходил совсем, понимаешь? Ну, мы...

– Молчи! – крикнула Настя. – Не надо!

– Ну, молчу. Я знаю, тебе неприятно это. Но «ведь мы останемся друзьями. В кино вместе...

Услышав скрип снега, Игорь повернулся и осекся на полуслове. Настя, покачиваясь, уходила от него, низко опустив голову и как-то странно растопырив руки. Он бросился к ней, схватил за локоть.

– Подожди! Куда ты? Домой? Она не ответила.

– Я провожу, ладно?

– Уйди! – не поднимая головы, попросила Настя. – Не трогай меня.

Игорь остался один. Вытащил из пачки папиросу. Разыскивая в кармане спички, смотрел, как девушка переходит улицу. Двигалась она медленно, не глядя по сторонам. Мимо проносились машины, но она будто не видела их, не обращала внимания. И от этого ее равнодушия к опасности Игорю сделалось страшно. Он напряженно следил за ней и почувствовал облегчение только тогда, когда Настя оказалась на тротуаре.

* * *

Сорвалась с крыши тяжелая сосулька, хрусталем сверкнула на солнце, со звоном разбилась о камень. Возле порога казармы натекла маленькая лужица. «Кап-кап, кап-кап», – падали в нее светлые шарики капли. Виктор, щурясь от яркого света, посмотрел вокруг. Совсем весна на дворе. Рыхлый снег осел, потемнел. Тропинка, раньше утопавшая в сугробах, теперь оказалась выше их, черной лентой тянулась от казармы к клубу. Весело чирикали воробьи на карнизе, прыгали, сустились. От их оживленной возни радостней становилось на душе. Лето чувствуют, жулики.

Сегодня воскресенье, Дьяконский получил увольнительную. Решил сходить в город, побродить по улицам, посмотреть на людей. Шагал веселый, тихонько насвистывая, думал о Василисе: вот бы привезти ее сюда, показать казематы, крепостные стены, подняться на полукруглую башню. Прямо у подножия башни – крутой обрыв к реке. Там, совсем рядом, Германия, вернее – Польша. Но теперь там немцы, на берегу – германские патрули.

– Дьяконский!

По тропинке быстро шагал лейтенант Бесстужев, застегивая шинель. Полы ее бились по голенищам сапог, начищенных до светлого сияния.

– В город? Пойдемте вместе.

Бесстужев за эту зиму осунулся, постарел, почти бесследно сошел со щек румянец. Виктор слышал – у взводного какие-то неполадки. Будто бы жениться хотел, а ему не разрешают. По вечерам в казарме лейтенанта не увидишь. Грозился обыграть в шахматы, да все не выберет времени.

– Слушайте, Дьяконский, вы не забыли наш разговор в ленинской комнате?

– О «Капитанской дочке»? – нахмурился Виктор.

– Я еще раз перечитал книжку. Но дело не в этом. Теперь я помню эпиграф к первой главе:

– Был бы гвардии он завтра ж капитан.

– Того не надобно; пусть в армии послужит.

– Изрядно сказано! Пускай его потужит...

– Да кто его отец?

Бесстужев внимательно посмотрел на Дьяконского.

– Это вы имели в виду?

– Именно это.

– Но у нас в стране существует такое правило: дети за родителей не отвечают.

– Однако в военное училище меня не взяли. Боюсь, что и на сверхсрочную службу не оставят. Капитан Патлюк поспешит демобилизовать меня в первую очередь, чтобы избавиться от беспокойства.

– Вполне вероятно, – согласился Бесстужев. – Но решать будет не один Патлюк. Обратитесь в политотдел, к комиссару Коротилу. А я поддержу вашу просьбу...

По железнодорожной насыпи прогрохотал поезд, прошел туда, где темным горбом высился над Бугом мост. Вот на мосту показался паровоз, фермы окутались дымом. Потянулась длинная вереница товарных вагонов.

– В Германию, – буркнул Дьяконский. – Хлеб да нефть возим.

– Хлеб – это мир.

– По мне лучше война, – вырвалось у Виктора.

– Вы серьезно? – замедлил шаг Бесстужев.

– Вполне. Честно скажу – хочу, чтобы война началась. Пусть эгоистично, но это так. Для меня единственная возможность доказать в бою, что я, может, больше других... Э, да что там, – махнул он рукой. Хотел замолчать, но прорвалось наболевшее. – Я буду драться страшно. Пусть все видят! А смерти не боюсь. Погибну – смою позор с семьи. Тогда хоть сестра будет человеком себя чувствовать... Вам трудно понять это. Не люблю громких фраз, но позор смывают кровью – иначе не скажешь.

Он сердито засопел и пошел быстрее. Бесстужев догнал его. Долго молчали. Потом лейтенант спросил:

– Виктор, вы любите кого-нибудь?

– Девушка там, на родине.

– Красивая?

– Очень. Хотя не знаю. По-моему – лучшая.

– Да, конечно. Иначе и быть не может. А у меня, Виктор, серьезные неприятности. Слышали, наверное?

– Болтали ребята какие-то пустяки в роте.

– Ну, не пустяки. Объяснять долго. Вы ведь Полину Горицвет знаете? В библиотеке работала.

– Вот оно что! Теперь понятно.

– Ничего вам не понятно, – хмуро сказал Бесстужев.

Ему и хотелось поделиться с Дьяконским и неудобно было откровенничать с подчиненным. К тому же трудно рассказать словами о том, что мучило его. Когда старший политрук

Горицвет возвратился из отпуска, Бесстужев пошел к нему. Надеялся сразу все уладить. Ведь Горицвет фактически давно уже разошелся с женой. Но политрук твердил одно: пока он здесь, репутацию свою чернить не позволит. Так ни до чего и не договорились. Оставалось только ждать, когда Горицвета переведут в другую часть, – он просился на Дальний Восток. Бесстужеву было очень неприятно, что Полина живет в одном доме с прежним мужем. Когда приходил к ней, надо было говорить шепотом, чтобы не слышали за стеной. А Юрий хотел любить открыто и честно.

Он снял комнату в другом конце города. О переезде узнали в полку, поползли грязные слухи. Полине предложили перейти на другую работу – уволили вежливо. На этом настоял Горицвет, надеясь, что с ее уходом из библиотеки меньше будет пересудов. У Бесстужева ухудшились отношения с командиром роты. Патлюк, приятель Горицвета, относился теперь к Юрию с открытой неприязнью, придирался по мелочам. Бил по самолюбию Бесстужева – без него рассказывал командирам похабное про Полину, знал, что передадут лейтенанту.

Все это действовало на нервы. Юрий стал замкнутым, вспыльчивым. Но самое неприятное – ему часто приходилось встречаться с Горицветом. Политрук не здоровался, проходил мимо с надменным видом, выставив челюсть с редкими, крупными зубами. При людях, на совещаниях командиров, держался с подчеркнутой вежливостью. Каждый раз у Бесстужева портилось настроение. Вечерами возвращался домой сердитый, усталый.

Полина понимала его состояние, старалась успокоить, развеселить Юрия, порадовать его чем-нибудь. А по ночам, когда он засыпал, плакала от обиды, от ненависти к Горицвету, который будто считал своим долгом отравлять ей жизнь да еще при этом выставлял себя пострадавшим.

Она просила Юрия перевестись в другой гарнизон, подальше от Бреста. На новом месте никто не будет мешать их счастью, а ведь им только этого и недоставало...

Углубившись в свои мысли, Бесстужев шагал молча. Уже вошли в город, когда он спохватился:

- Вы куда, собственно, направляетесь, Дьяконский?
- Так, без определенной цели. Людей посмотреть.
- Посмотреть – тоже цель, – невесело улыбнулся лейтенант. – Зайдем ко мне, а? Поужинаем по-домашнему.
- Удобно ли?
- Какой разговор! Полина рада будет. Она вас знает, вы же половину библиотеки перечитали. Мы как-то на отшибе живем, к нам не заглядывают, и мы тоже... Ну, и вот что: мы же с вами ровесники?
- Почти.
- Вне казармы зовите меня просто Юрой.
- Ладно. Но по привычке могу и ошибиться.
- По привычке – можно.

Приходу Дьяконского Полина действительно обрадовалась. Помнила его – парень серьезный, с ним интересно поговорить. А для Бесстужева Виктор был первым гостем в первой квартире, и лейтенант не без гордости показывал ему свое жилье. Полина постаралась: оклеила комнату светло-зелеными обоями, навела уют. Чисто, ничего лишнего. Стол и шкаф хозяйские. Кровать купили сами. На стене портрет Ворошилова. Ниже – полка с книгами, гордость семьи.

– Смотрите, Виктор, – говорил Бесстужев. – Здесь еще немного, но это только начало. Хорошая библиотека – моя мечта. Видите, книги стоят по отделам. Вот классика, тут география, здесь – по военной истории.

- Вероятно, работа Полины Максимовны?
- Ее, ее. В книгах она толк знает. Недавно достала у букиниста воспоминания Людендорфа о мировой войне, редкое издание.

– Вот собрались мы, двое любителей в книгах порыться, а рыться не в чем, – шутливо пожаловалась Полина.

– Обзаведемся со временем. А полку-то, между прочим, я сам делал. Подтверди, Поля!

– Да ты, оказывается, хвастун?!

– Почему же не похвалиться хорошей работой!

– Ладно уж, похвались, – разрешила Полина. Она стояла возле окна, скрестив полные руки, откровенно любовалась Юрием. Столько радости и тепла было в ее глазах, что Виктор даже отвернулся; почувствовал себя здесь лишним.

– Чего же мы гостя разговорами кормим? – спохватилась хозяйка. – Заболтались и про ужин забыли.

– Это уж твоя забота, – солидно ответил Бесстужев.

– Я быстренько. Лапшу разогрею. С грибами сегодня. Холодная закуска на подоконнике, сам возьми.

– А ради воскресенья есть у тебя что-нибудь?

– Ради воскресенья найдется.

– Я не буду, – запротестовал Дьяконский.

– Изредка можно. Правда, Поля?

– Можно, Виктор. Пожуете чаю, пройдетесь по морозцу, и никакого запаха не будет.

– Чему ты моих бойцов учишь! – притворно возмущился Бесстужев. – Целая памятка по сокрытию темных дел.

– Твой же опыт распространяю, – засмеялась она.

* * *

Весна шла недружно. В конце марта выдалось несколько теплых дней. Зажурчали ручьи, на реке пучился и трещал лед. Потом опять ударили заморозки; хотя и не сильные, но держались они долго. Днем пригревало солнце, оседали сугробы. А по ночам толстой ледяной коркой затягивались лужи, снег на дворе крепости скрипел под ногами часовых, как январский.

С юга подул, наконец, влажный ветер, принес мелкий и теплый дождь. Сразу взбухли, запенились мутные потоки, устремились к реке. Широко разлился Буг, затопил луговины, окрестные поля. На улицах Бреста – жидкое месиво грязи.

Инспекторская группа приехала из Москвы в самую распутицу. Полковник Порошин остановился не в гостинице, а в крепости. Он должен был проверять боевую подготовку, а для этого лучше побыть вместе с людьми, присмотреться к ним, уловить ритм повседневной, будничной жизни подразделений.

Решено было провести намеченные по плану тактические учения в поле. Погода усложняла задачу. Но Прохор Севостьянович был доволен. Распутица поможет определить боеготовность рот и батальонов, научит красноармейцев действовать в обстановке, похожей на фронтую.

Сапоги мяли разбухшую землю, смешивали ее с талым снегом. Ноги утопали по щиколотки. Стрелковые подразделения еще могли кое-как двигаться вперед. Но после них дороги делались непроезжими. В жидком месиве безнадежно вязли орудия на конной тяге, застревали повозки. Полевые кухни отстали. Рота капитана Патлюка весь день не получала горячей пищи. Голодные, облепленные грязью красноармейцы шли медленно. В соприкосновение с «противником» рота вступила только под вечер.

«Синие» укрепились на высотах по правому берегу ручья. На возвышенности было сухо, оттуда хорошо просматривалось низкое левобережье, луг с редким кустарником, покрытый озерами. Летом ручеек, наверно, пересыхал. Но сейчас, наполненный мутной, желтоватой

водой, он представлял серьезную преграду. На участке роты Патлюка был деревянный мост, но посредник предупредил, что мост «взорван противником».

Патлюк, вышедший к ручью первым, решил с ходу форсировать его, захватить плацдарм на том берегу. Развернул роту в цепь. Красноармейцы двигались неохотно, никого не радовала перспектива лезть в холодную воду.

Но переправляться через ручей не пришлось. «Противник» открыл с высоток пулеметный и ружейный огонь. Посредник сказал, что атака отбита, рота понесла большие потери: пятьдесят процентов личного состава.

Патлюк начал возражать, но посредник не стал слушать. Пришлось отвести роту на исходные позиции, отправить «раненых» и «убитых» в тыл. Остальные красноармейцы принялись окапываться, искренне завидуя «павшим» товарищам. Эти счастливыцы грелись теперь где-то возле костров.

Весь вечер к ручью подтягивались стрелковые подразделения, зарывались в мокрую землю. Подошли танки, артиллерия на механической тяге. С наступлением темноты вперед двинулись разведчики и саперы: надо было разыскать броды, разведать систему обороны «синих».

На командном пункте полка, куда был вызван капитан Патлюк, к нему подошел приехавший из Москвы полковник. Под его мрачным, немигающим взглядом капитан оробел.

– Вы водили роту в атаку?

– Так точно.

– Зачем?

Вопрос сбил капитана с толку. Раз война, хоть и ненастоящая, значит, надо поступать как на войне. Встретил противника – атакуй.

– Зачем? – повторил полковник, надвигаясь на Патлюка. Полы шинели и сапоги его были вымазаны грязью – полковник шел пешком вместе с бойцами. Лицо его багровело, наливалось кровью, белым оставался только лоб.

– Так положено, – ответил Патлюк, глядя на массивный подбородок полковника.

– Командиру положено думать... Да вы вообще-то понимаете, что вы натворили? Вывели роту: полторы сотни живых людей, живых людей, – зло повторил полковник, – не дав отдохнуть, без разведки, на открытый луг, под огонь неприятеля. Будь это настоящий бой, роты уже не существовало бы. Это вы понимаете? Ничего вы не понимаете, – дернул плечами полковник. – Идите, подумайте. О своих выводах доложите командиру батальона. Все.

Из этого разговора Патлюк понял: не суйся вперед. Черт их разберет, этих начальников. Хотел ведь как лучше.

В роту капитан возвратился, когда красноармейцы закончили уже рыть окопы. Место было низкое, в траншее набралась вода. Пользуясь темнотой, бойцы отдыхали где посуше, на кочках и бугорках. Патлюк вызвал командиров. В «живых» осталось только двое – лейтенанты Бесстужев и Алешкин.

– Как там саперы? Еще не сообщили о бродах?

– Нет.

– Алешкин, пошли отделение за штурмовыми мостиками. Скоро привезут, как бы другие не расхватили. На рассвете атака всем полком после артподготовки. Наша задача – захватить высотку с деревом. Видели ее?

– Оттуда четыре пулемета били, – сказал Бесстужев.

– Ладно, артиллерия подавит.

– А если нет?

– Не мы виноваты будем.

– У меня предложение.

– Выкладывай побыстрей.

Патлюк думал о том, где бы обогреться и просушить сапоги.

– В лоб высотку взять трудно. Понесем потери, могут отбросить.

– Ближе к делу давай.

– Левей высоты есть низина. Заболоченная. – Бесстужев привык к резкости Патлюка, особенно в последнее время. Сам говорил сухо, сдержанно. – Я смотрел в бинокль. Укрепленный «противника» в низине нет. Невозможно рыть – затопит. «Синие», наверное, перекрыли низину минами. Но это не страшно. Можно обойти высоту по ложбине и с началом общей атаки ударить «противника» с тыла. Разрешите моему взводу?

– Смеешься, что ли? В роте людей ни черта не осталось, а ты еще свой взвод хочешь угробить.

– Риск есть, но...

– Взвод не пущу, точка.

– Разрешите хоть отделение послать.

Патлюк задумался. Отделением рискнуть можно, глядишь, в самом деле выпадет удача. У Бесстужева крепкая голова, он зря предлагать не станет. Получится хорошо – за дневную атаку ругать не будут. Но, с другой стороны, как бы опять не пришлось моргать перед тем полковником.

– Вот что, лейтенант. Разрешаю тебе послать разведку. Понял меня?

– Понял! – улыбнулся Бесстужев. Было ясно, чего хочет Патлюк.

– Только сам ни-ни! – погрозил капитан.

Патлюк не спросил даже, кто пойдет старшим, умыл руки. Бесстужев обрадовался – будет действовать, как захочет. Во взводе остались «живыми» сержант Мухов, несколько ефрейторов. Ребята хорошие, но как бы не запутались в темноте, в незнакомом месте. Нужен был человек смысленый, на которого можно положиться. Лейтенант остановил свой выбор на Дьяконском.

Виктор в это время сидел в кустах, с Носовым и Айрапетяном. Постелили на бугорок шинель Носова, сверху накрылись еще двумя. Получилось что-то вроде шалаша.

– Наши, которые мертвые, кухню небось встретили, – завидовал Носов. – Жрут кашу горячую, портянки сушат. По правилам меня первым надо было убить. Я самый длинный во взводе.

– Охота тебе трупом быть? – смеялся Виктор. – Думаешь, они бездельничать будут? Их к саперам pošлют, дорогу чинить.

– Лучше пусть сейчас плохо, – сказал Айрапетян. – Потом не стыдно будет. Воевал, а не кашу ел.

– Нравится тебе ж..ой в луже сидеть? – разозлился Носов. – Вот жена посмотрела бы сейчас на тебя, на такого вояку. Кура мокрая!

– А у тебя, говорят, и ребенок есть? – спросил Виктор.

Он мало знал этого застенчивого, слабого на вид бойца с морщинистым не по возрасту лицом.

– Сын. Аршак зовут. Толстый.

– Не в отца, значит?

Айрапетян не понял насмешки Носова.

– Он – как жена... В Краснодаре живут.

– Когда же ты успел? Может, помог кто? – не унимался Носов.

– Зачем помог? Я старше вас. У меня отсрочка была.

Кто-то шел к ним, шуршали кусты. Раздался голос Бесстужева.

– Дьяконский, где вы?

– Здесь, товарищ лейтенант.

– Кто с вами? А, и Носов тут! Вы мне нужны, подвиньтесь немного. – Бесстужев втиснулся между Дьяконским и Айрапетяном. Лежа на животе, разложил карту, сунул Носову фонарик: – Светите!

Объяснял лейтенант неторопливо, подробно. Виктор сразу понял его план. Мысль хорошая, но добраться трудно.

– Самое главное – это пройти незаметно, – говорил лейтенант. – Боевое охранение у них скорее всего по склонам низины. В болоте вряд ли. Старшим, Дьяконский, назначаю вас.

– Будет выполнено, – сдержанно ответил Виктор. Нащупал в темноте локоть Бесстужева, пожал благодарно. – Спасибо, товарищ лейтенант, за доверие.

– Возьмите десять человек и ручной пулемет. Хватит?

– Людей достаточно. Меньше народу – меньше шуму. А пулеметов лучше два или три. Поднимем переполох, подумают, что целая рота прорвалась. Ну и если круговую оборону занять придется...

– Три не могу. Берите два пулемета и взрывпакетов побольше.

– Носов и Айрапетян со мной?

– Людей отбирайте сами.

В полночь маленький отряд бесшумно миновал боевое охранение. Виктор предусмотрительно захватил моток веревки, первым перешел вброд ручей. Держась одной рукой за веревку, а другой поднимая над головой оружие, перебрались через ручей остальные. Высокие красноармейцы вымокли по пояс, Айрапетяну вода доходила до подбородка. На правом берегу вылили из сапог воду, отжали одежду. Долго задерживаться было нельзя, люди клацали зубами, дрожали от холода. Двинулись дальше. Иногда взлетала ракета, и тогда все падали, куда придется: в грязь, в снег, лежавший еще в теневых местах.

Обе стороны не стреляли. Затаились, ожидая рассвета.

Вот и ложбина. Идти было трудно, глубоко проваливались ноги. Красноармейцы держались за веревку. Так приказал Дьяконский. Если один попадет в трясины, другие вытянут. Впереди длинный Носов палкой прощупывал путь, выбирал места посуше.

К трем часам ночи отряд, по расчетам Виктора, миновал передний край «синих». Не то что боевого охранения, даже мин не встретилось на пути. Вероятно, «противник» не мог предположить, что разведчики рискнут ночью пойти по болоту.

Ориентируясь по компасу, Дьяконский вывел отряд на обратный скат высоты. Остановились, ожидая рассвета. Красноармейцы прыгали на месте, чтобы не заоченеть.

Утро наступало медленно, неохотно. Начал накрапывать дождь. Впереди метрах в двухстах виднелось одиноком дерево с голыми ветвями. Дерево казалось черным, будто обуглившимся. Красноармейцы залегли.

– Товарищ командир! – Виктор не сразу поднял, что Айрапетян обращается к нему. – Товарищ командир, туда смотри. Влево. Там люди ходят.

Едва различимые в полусумраке, появлялись и исчезали расплывчатые фигуры. Наклонялись над чем-то, переходили с места на место.

– Батарея, – шептал глазастый Айрапетян. – Четыре пушки. Чехлы снимают. Ну, видишь, что ли?

– Да, молчи! – Виктор соображал, что делать. Ударить по батарее или по траншеям? Что выгоднее? Вот где не хватает Бесстужева, тот сразу бы решил! Придется самому. Хорошо, что взяли два пулемета.

– Носов!

– Я.

– Останешься здесь. С тобой Айрапетян, Гушин, Бартаков, Кружкин. Канаву видишь? Выдвигайся с ручным пулеметом. Когда я открою огонь, бей по батарее. Забрасывайте взрывпакетами. Ясно?

– Так точно.

– Остальные за мной.

Тяжело было ползти по размякшей земле, скользили руки и ноги, подворачивались колени.

– Оружие, оружие берегите! – свирепо шептал Виктор.

Возле дерева, почти на вершине высоты, наткнулись на недорытую траншею. Кто-то начал окапываться, здесь и бросил. Дьяконский приказал остановиться. Это была удача. Виктор даже улыбнулся, представив возможный разговор с посредником: «Вас перебило на открытом месте во время своего артналета». – «Никак нет! Мы находились в укрытии, можете проверить!»

Но разговор с посредником был впереди. А сейчас Виктор, лежа на бруствере, изучал передний край обороны «синих». По склону высоты тянулась ломаная линия траншеи. Сверху хорошо видны пулеметные гнезда, ячейки стрелков. Со стороны «красных» все это прикрито маскировочной сетью.

В траншее не спали. Возле пулеметов толпились бойцы. Мимо Дьяконского, совсем близко, прошли трое «синих». Двое тащили бидон, третий – мешок с хлебом. «Завтрак», – усмехнулся Дьяконский. У него дрожали от возбуждения пальцы, но в успехе он был уверен. Кому придет в голову, что в самую гущу расположения войск проник отряд «противника»!..

Началась артиллерийская подготовка. Далеко за ручьем ударили холостыми зарядами батареи «красных». По траншее пробежал посредник с повязкой на рукаве. Останавливался возле плохо укрытых бойцов, показывал, где «взорвался снаряд». По ходу сообщения потянулись в тыл «убитые» и «раненые». Двое бойцов, сгибаясь от тяжести, тащили «уничтоженный» станковый пулемет.

Под прикрытием артогня «красные» поднялись в атаку. По всему луку группами двигались сотни маленьких игрушечных человечков. Шли медленно, порой скапливались в одном месте, обходя озерца, потом снова растягивались в линию. Извиваясь, разрываясь и смыкаясь вновь, цепь подходила к ручью. Впереди выделялись саперы со штурмовыми мостиками.

Потом появились танки. Они ползли по равнине большими зелеными жуками, обгоняя людей, стремительно увеличивались в размерах.

Картина была захватывающая. Виктор впервые видел такое. Он разыскал свою роту – она шла прямо к ним, к высоте. Вот ее боевой порядок пересекли танки, некоторые красноармейцы вскочили на броню. Цепь побежала, не отставая от танков. Виктор узнал Бесстужева. Лейтенант вырвался далеко вперед. Бежал налегке, без шинели.

Танки с ходу, подняв фонтаны воды, форсировали ручей. Два или три остановились – наверно, заглохли моторы. Белые, свежеструганные мостики во многих местах перекинулись через ручей. По ним бежали пехотинцы. Многие перебирались вброд, там, где саперы воткнули шесты.

Гулко ударили вблизи орудия «синих». Длинными очередями захлебнулись пулеметы, в сплошной треск слились винтовочные выстрелы. «Красные» залегли, двинулись вперед перебежками. Бесстужев опередил цепь метров на сто. Виктор не спускал с него глаз. Лейтенант скрылся за бугорком, и почти тотчас над тем местом, где он упал, взвилась в воздух зеленая ракета.

– Огонь! – приказал Дьяконский пулеметчику.

Красноармейцы начали стрелять, но в общем шуме никто не обращал на них внимания.

– Зря бьем! – крикнул кто-то.

Виктор только рукой махнул, прислушиваясь, что делается за спиной. Группа Носова тоже открыла огонь. Потом там раздались взрывы. Подряд штук двадцать. Батарея умолкла.

– На пулеметы! За мной! – вскочил Виктор.

Пакет, брошенный им, разорвался возле бойца, вставлявшего в пулемет новую ленту. Пополз белый дым. Ошарашенный боец закрутился на месте. Спрыгнув в траншею, Виктор побежал влево, забрасывая вперед взрывпакеты, кричал во все горло:

– Кончай стрелять! Все убиты!

«Синие» поднимались, оборачивались, не понимая, в чем дело. Один пулемет «синих» продолжал еще вести огонь. Красноармеец Чушкин, здоровенный тяжеловес, сверху навалился на пулеметчиков. Там сбилась куча тел, взметнулись сжатые кулаки.

– Р-разойдись, застрелю! – хрипел Чушкин, отбиваясь от «синих».

Лицо перекошенное, глаза выпучены: будь у него боевые патроны, наверняка бы пальнул сгоряча.

У поворота траншеи Виктор столкнулся с посредником, чуть не сбил его с ног.

– Стой! Что происходит?

– Мы «красные»!

– Что-о-о?

– Ворвались с тыла! Враг уничтожен гранатами и пулеметным огнем! Батарея тоже!

Посредник слушал, приоткрыв рот. Потом хлопнул себя по лбу, повернулся назад, закричал кому-то:

– Закурдаев, прекратите огонь! Вы уничтожены!

Виктор вскочил на бруствер, поднял винтовку над головой. Мимо с лязгом прошел танк, повел в его сторону стволом пушки, будто обнюхал. Появился Бесстужев, налетел бурей, обнял, закричал, задыхаясь:

– Ну, молодец! Молодец же!

На высоту с винтовками наперевес бежали знакомые красноармейцы.

Для Виктора Дьяконского ночная операция имела самые неожиданные последствия.

Когда инспекция закончила свою работу, командиры подразделений и штабные работники собрались для ознакомления с результатами проверки. Полковник Порошин поделился своим мнением об учении. Начал с плохого, с ошибки капитана Патлюка. Сказал, что атака была подготовлена слабо, система огня «синих» не была разведана полностью.

Особо остановился на действиях группы, проникшей в тыл «противника».

– Воевать надо именно так, не числом, а умением. Приходится повторять эту старую поговорку. Кое-кто не привык еще выигрывать бой умом. А пора бы, пора!.. В данном случае смелая инициатива одного командира до некоторой степени предопределила исход боя. Кстати, мне известно, что группу возглавлял красноармеец. Это так?

– Совершенно верно, – подтвердил командир полка.

– Долгом своим считаю подчеркнуть, что это очень положительный факт. Маршал Тимошенко требует обратить особое внимание на одиночную подготовку бойца. В этом свете приведенный мной пример говорит сам за себя. И еще: к вопросу изучения кадров. Командир, имеющий звание капитана, ведет роту в заведомо обреченную атаку, а боец той же роты блестяще проводит трудную операцию. Я интересовался: у бойца среднее образование, а у ротного – пять классов. Над этим стоит задуматься.

– Патлюк имеет опыт. Зарвался, ошибся, это со всяким может случиться.

– Не спорю. Но дело не в одном Патлюке. Жить старым багажом в наше время нельзя. Растут люди – их надо понимать. Растет техника – ее надо знать. Усложняется взаимодействие родов войск – надо уметь управлять ими. Партия призывает нас и приказывает нам: учитесь! Кто не хочет учиться – надо заставлять. Мы, командиры, отвечаем за самое ценное – за жизнь людей. Матери и отцы доверяют нам своих сыновей. И тем, кто не способен умело руководить, завоевывать победу малой кровью, – таким не должно быть места в нашей Красной Армии, – закончил Порошин.

Через день после отъезда инспекции приказом по полку красноармейцу Дьяконскому было присвоено звание младшего сержанта. За инициативу и смелость при выполнении трудного задания командир поощрил Дьяконского десятидневным отпуском.

Тем же приказом была объявлена благодарность лейтенанту Бесстужеву; красноармейцам Носову и Айрапетяну присвоено звание ефрейтора.

* * *

От железнодорожной станции до небольшого местечка, где стояла танковая часть, Лешка Карасев доехал на попутной машине – бензовозе. Штаб разыскал на окраине, в бывшем помещицьем фольварке. Здесь же, в длинных, похожих и а казармы домах под черепичной кровлей, разместились обслуживающие подразделения.

Начальник штаба, пожилой майор с выпирающим из-под гимнастерки брюшком, прочитал бумаги красноармейца, спросил:

– Тракторист?

– Так точно.

– Магнето в землю сумеете запахать? Майор то ли проверял его, то ли решил разыграть. Лешка чуть заметно усмехнулся.

– На такую приманку, товарищ майор, только самая мелкая рыбешка клюет. Плотва.

– А вы покрупней, значит? – повеселел майор.

– Карасев моя фамилия, – серьезно сообщил Лешка.

– Не обратил внимания сразу, теперь вижу. Так сколько же вы, Карасев, на тракторах работали?

– Почти три года.

– Траки менять умеете?

– Разрешите показать?

– Не надо, верю. – Майор потер висок. – Куда же определить вас? В учебной роте скоро выпуск. Там вам делать нечего... Придется дублером посадить.

– Мне все равно, товарищ майор, лишь бы на танк.

– Отправляйтесь во второй батальон, я позвоню туда.

На другой день Лешка был зачислен в экипаж младшего лейтенанта Варюхина. Новый командир Карасеву понравился. Маленький, черный, как цыган, Варюхин сам раньше был трактористом, училище не кончал, командирское звание получил во время Финской войны. О членами экипажа младший лейтенант держался на равной ноге, был влюблен в свой недавно полученный с завода БТ-7. Это была быстроходная машина последней конструкции, с усовершенствованными механизмами наведения 45-миллиметровой пушки, с новыми ленточными тормозами, которые позволяли одинаково удерживать танк как на спусках, так и на подъемах. На машине усилена была лобовая броня и броня башни, спасавшая людей от пуль и осколков. И хотя в дивизии было уже несколько тяжелых, могучих танков КВ с противоснарядным бронированием, с тупорылой 76-миллиметровой пушкой и широкими гусеницами, повышавшими проходимость, Варюхин был предан легкому и подвижному БТ-7.

Экипаж Варюхина считался в батальоне одним из лучших. Механик-водитель танка сержант Яценко должен был скоро уйти в долгосрочный отпуск, и Варюхин искал хорошую замену своему опытному водителю.

Карасев думал, что его сразу посадят за рычаги, но получилось другое. Варюхин показал ему машину, рассказал о ее тактико-технических данных. Потом спросил со смехом:

– Ну, налюбовались? Теперь прощайтесь с танком недели на две.

– Почему? – удивился Лешка.

– Сержант будет из вас танкиста делать. И чтобы никаких возражений. У нас своя школа: что в учебной роте полгода зубрят, вы должны за месяц освоить. Предупреждаю, дело нелегкое. Яценко умеет воду из новичков выжимать. А вы молчите и посапывайте в тряпочку.

– Раз нужно – помолчим, товарищ лейтенант.

– Младший лейтенант, – поправил Варюхин.

Лешка поступил в полное распоряжение мрачного верзилы Яценко. У сержанта скошенный назад лоб, крупные черты лица. Непропорционально маленькими выглядели сердитые глазки. С помощью Яценко Карасев изучал устройство двигателя. По пунктам разбирали инструкцию механика-водителя. Часа два кряду заставлял сержант заниматься на турнике, бегать и приседать. Притащил откуда-то двухпудовую гирию, приказал тренироваться с ней в свободное время.

– Товарищ сержант! – взмолился однажды Лешка. – У меня уже мускулы трещат... Все равно ведь не стану я таким силачом, как вы. Устройство у меня пожиже и рост помельче.

Яценко ничего не ответил, будто и не расслышал. А через пару дней привел Карасева в класс учебной роты, посадил на тренажер, скомандовал:

– Выжми правую!

Лешка надавил ногой, надавил изо всей силы. Педаль подалась с трудом.

– Еще!

Карасев повторил.

Раз десять заставлял его сержант выжимать педали, потом приказал работать рычагами. Вскоре на лбу Лешки выступил пот.

– Педаль – сорок, рычаг – двадцать килограммов, – сказал Яценко.

Лешка кивнул, ему все было ясно.

Сержант встал за спиной Карасева, начал раскачивать тренажер, имитируя толчки. Работать при качке оказалось еще трудней.

Лешка, не спуская глаз с приборов, переводил рычаги, тормозил, сбрасывал и давал газ. Он не видел лица Яценко, но по голосу чувствовал – сержант доволен им. Обычно новички первое время безнадежно путают рычаги и педали, очередность действий. Так было на тренировке курсантов учебной роты. Себя Карасев к новичкам не причислял. Недаром получал похвальные грамоты в МТС.

К концу месяца Лешка был уверен, что изучил все. Обидным казалось недоверие командира, не позволявшего самому водить танк.

– Товарищ младший лейтенант, разрешите. Ведь я умею, – просил Карасев.

А у Варюхина не поймешь, шутит или говорит серьезно. Все у него с веселым смехом.

– Может подождем, Карасев?

– Чего ждать-то?

– Как бы в грязи не завяз. Вот придет лето, земля подсохнет.

Карасев пропускал шутки мимо ушей, упрямо настаивал на своем. Пришло, наконец, время, когда сержант Яценко доложил Варюхину:

– Можно сажать в танк.

– А что, Яценко, будет из него дельный водитель?

– Спесивый хлопец, много о себе понимает, – уклонился от прямого ответа сержант.

– Спесь собьем, – смеялся Варюхин. – Пусть завтра готовит машину к выходу и все сам делает.

Утром Карасев получил у старшины роты новый танковый шлем, надел комбинезон и отправился вместе с Яценко в парк. Народу там было много. Курсанты выводили машины на полигон, отрабатывали переключение скоростей, повороты. С ревом, заглушая все звуки, прополз мимо Карасева учебный БТ. В люке механика – белое от напряжения лицо курсанта. «Ну,

этот далеко не уедет», – подумал Лешка, и, как бы подтверждая его мысль, рев мотора вдруг оборвался, танк замер на месте.

– Эй, – не удержался Карасев, – наклонись, послушай, кажется, мотор заглох!

Сержант Яценко сердито посмотрел на него.

Лешка принес и поставил в моторное отделение тяжелые аккумуляторы, заправил машину водой и горючим. Работал спокойно, знал, что не ошибется: привычной была эта наука.

К концу заправки пришел младший лейтенант Варюхин с башенным стрелком. Карасев доложил, что танк к выходу готов. Варюхин, посерьезнев, скомандовал:

– По местам!

Лешка первый залез в люк. Следом протиснулся в отделение управления громадный Яценко. Сидеть сержанту было неудобно, он жался к броне, чтобы не мешать Карасеву.

– Заводи! – крикнул младший лейтенант.

Лешка поймал на себе взгляд Яценко, впервые увидел его улыбку. Рука сержанта легла на колено.

«Не робей!» – понял Карасев и, вздохнув, плавно нажал стартер. Мотор загудел сильно и ровно.

– Вперед!

Танк медленно, на первой скорости пополз по ровному полю. Позади двести, триста метров.

– Правый поворот!

Лешка выполнил команду.

– Вторая скорость!

Это – самое трудное. Надо сбросить газ, отключить фрикционы, опять включить. Карасев нажал педаль, перевел рычаг, прибавил газ. Снова педаль. Мотор заработал громче, увеличилась скорость. В открытый люк Лешка видел перед собой ровное поле: ни деревца на нем, ни кусточка. Простор, есть где промчатся на быстроходной, послушной машине.

Вот он уже и танкист! Вечером посмеется над ребятами из учебной роты. Тоже водители: занимаются с осени, а моторы глохнут!

«Броня крепка, и танки наши быстры», – запел Карасев.

– Отставить! – крикнул Яценко.

Ну, что же, можно и не петь! Все равно ведь танк в его руках! Как когда-то повиновался ему трактор, повинуетесь теперь боевая машина. Он может делать с ней все, что захочет: повернуть, остановить, бросить вперед.

– Первая скорость! – скомандовал младший лейтенант.

Карасев поморщился; не интересно еле-еле тащиться по полигону. Танк пошел медленно. И снова команда:

– Закройте люк!

Тяжелая бронированная крышка захлопнулась над головой. Лешка склонился к смотровой щели, прижался лбом к холодному металлу. Что за черт! Ничего не видно. На месте смотровой щели – тусклая серая полоска. У Карасева дрогнули руки. Вести танк вслепую нельзя, открыть люк тоже... Лешка остановил машину.

– В чем дело? – спросил Варюхин.

– Товарищ командир, почему-то темно стало!

– Это среди дня-то? – засмеялся младший лейтенант. – Ну, откиньте люк, разберитесь.

Карасев открыл крышку. Приподнялся, осмотрел триплексы. Не сдержался: вырвалось крепкое ругательство, хотя и знал, что Варюхин брани терпеть не может. Младший лейтенант, выбравшийся на броню, будто не расслышал, повторил вопрос:

– Что случилось?

– Триплексы тавотом смазаны.

– Кто готовил машину?

– Я.

– Почему не протерли?

– Забыл.

– Ну, забыл, случается. А машину остановили зачем? Что нужно было сделать? Сержант, покажите.

Яценко ловким движением вынул триплекс, провел по голенищу сапога, потом по колену, стирая тавот. Сунул триплекс на место. На все это ушло несколько секунд.

– Видели, Карасев? Запомните и не теряйтесь больше. А сейчас ведите машину обратно.

Из парка в казарму Лешка возвращался хмурый, со скверным настроением. Обидно, что сорвался на пустяке, на мелочи...

Младший лейтенант, раскуривая самокрутку, спросил с улыбкой:

– Расстроился, механик?

– Какой я механик!

– Не унывай! – Варюхин обнял его за плечи. – Поверил я сегодня, что машину ты чувствуешь. Знаешь, как бывает? Сперва не водитель на танке ездит, а танк на нем. Изъездит, измучает новичка, потом подчинится. А тебя машина послушалась сразу. Опытную руку почувяла... Верно говорю, а, Яценко?

– Верно, – буркнул сержант.

– Только ты, Карасев, танкист еще наполовину. Танкист-тракторист. Я ведь нарочно решил тебе все самому делать, чтобы понял это.

– А теперь как же?

– Что теперь? Как и раньше – учиться будем. Яценко-то наш домой осенью уедет в совхоз на трактор. А ты на его место – в танк. Как, сержант, согласишься ему машину?

– Доверю, – сказал Яценко.

Вытащив из кармана кисет, по величине мало уступавший вещевому мешку, протянул Карасеву:

– Кури, механик. Дел у нас с тобой много сегодня будет. После обеда траки чистить пойдем.

Сержант впервые говорил с ним как равный с равным.

* * *

Почти весь май держалась дождливая, слякотная погода, не просыхали лужи и грязь на дорогах. Широко разлившийся Западный Буг медленно входил в русло, оставляя на луговинах низкого правобережья топкие болота. Над озерами вешней воды поднимались мокрые ветлы, на незатопленных буграх тесно жался зазеленевший кустарник.

Лагерь стрелкового полка разместился на лето в лесу юго-восточнее Бреста. В крепости для охраны казарм и хозяйственных работ остались мелкие подразделения.

Земля в лесу была покрыта толстым слоем волглой, непросыхавшей хвои. В пасмурные дни под густыми кронами медноствольных сосен держался сырой полусумрак. С деревьев капало, если даже не было дождя.

Вдоль прямых дорожек, посыпанных песком, ровными рядами вытянулись белые палатки, выделялись среди них полосатые «грибы» для дневальных.

Изредка прорывались сквозь низкие облака лучи солнца, и тогда люди спешили обогреться, просушить вещи. Командиры взводов выводили красноармейцев из леса на открытые места, на лысый холм неподалеку от лагеря. С холма хорошо видна была дорога, убегавшая к городу, красные крыши местечка, острый шпиль костела.

С конца мая чаще стали появляться над лесом куски голубого неба, меньше надоедали дожди, горячее светило солнце. Синоптики обещали жаркое лето.

Бесстужев мало бывал теперь на городской квартире, раз в неделю видел Полину. Капитан Патлюк после учений старался подчеркнуть свое уважение к лейтенанту. Уезжая ночевать в город (имел свой мотоцикл), оставлял Бесстужева вместо себя, доверял роту. Неудача на ученьях не повлияла на Патлюка. Ходил, как и раньше, веселый, довольный, всегда выбритый, туго стянутый в тонкой талии командирским ремнем. Бесстужеву сказал как-то:

– Поругали меня, так что из этого? Инспекция должна же кому-то всыпать, иначе зачем ее посылать. А насчет образования – так у нас академики по штабам сидят, карты разрисовывают. Их на черную работу не очень тянет, нравится, значит, бумажные крепостя брать... Я в генералы не мечу, а время придет – с батальоном справлюсь...

Монотонно и незаметно текли лагерные будни. Во всем чувствовался твердый, годами установившийся армейский порядок, с его нерушимыми правилами, определявшими жизнь бойцов по часам и минутам.

Бесстужев задумывался порой: не слишком ли много времени и сил тратится на поддержание этого внешнего благополучия? Бойцы умели быстро строиться, отдавать честь, ходить строевым шагом, дословно вызубривали параграфы уставов, вертелись на турниках и совершали марш-броски. Внешне все было хорошо. Но что стали бы они делать в случае не учебной, а настоящей боевой тревоги? Склады боеприпасов остались в крепости, у красноармейцев не было не только ручных гранат, но и патронов.

В крепости находилась и добрая половина артиллерийских подразделений. Там шла замена устаревшей материальной части. А батареи, прибывшие в лагерь, не взяли с собой ни одного боевого комплекта снарядов.

Два раза в неделю батальон выходил к границе – работать на строительстве укрепленного района. Форты оборудовались по последнему слову техники: бетонированные огневые точки соединялись подземными ходами. Имелась даже система затопления. Но на фортах не было самого главного – постоянных гарнизонов и оружия. Укрепления зарастали травой...

В первых числах июня Дьяконский уезжал в отпуск. Бесстужев сам побывал на вокзале, оформил младшему сержанту билет. Поезд на восток отправлялся ночью, а во второй половине дня Бесстужева вызвал полковой комиссар. Юрий знал, что разговор предстоит неприятный: Коротиков будет говорить по поводу рапорта о переводе в другую часть.

К комиссару шел неохотно, заранее ошетинившись внутренне. В лагере было пусто и тихо, подразделения отправились на полевые занятия. Радуюсь наступившему спокойствию, завел свою веселую переливчатую трель щеголь-зяблик. В пестром наряде из красных, зеленых и белых перьев он сидел на качавшейся ветке, пел самозабвенно и звучно. Бесстужев замедлил было шаги, но зяблик оборвал песню, вспорхнул и исчез в кустах.

Полковой комиссар жил в полуземлянке, выстроенной саперами. Пол и стены обшиты тесом, свет проникал через два окошка в крыше, поднимавшейся над землей метра на полтора. Коротиков сидел за дощатым столом, покрытым клеенкой, вытянув левую ногу. В сырую погоду ныла у него старая рана. Кивнул на табуретку.

– Садись, лейтенант.

Достал из нагрудного кармана костяную расческу, провел по пышным усам, подправил выющиеся подусники. Поглядывая в маленькое зеркальце, расчесал на косой пробор седые, белые, как мыльная пена, волосы на голове. Бесстужев терпеливо ждал.

За открытым окошком снова запел зяблик. «Рю-пинь-пинь, рю-пинь-пинь», – неизвестно чему радовался он.

– Любите птиц? – спросил комиссар.

– Я? Птиц?... Так себе. – Бесстужев не ожидал этого вопроса.

– А я люблю. Люблю, когда они на воле поют. Отец у меня ремесленник был. Клетки для птиц на продажу делал. Тем и жили. Насмотрелся я в детстве на птиц, которые взаперти. До слез жалел. Вот люблю их, а у себя не держу. Пусть прыгают. У свободной птицы песня веселая. Верно, а?

– Возможно.

Комиссар с минуту сидел молча, слушал зяблика.

– Самка у него трудится, гнездо вьет где-то тут рядом... И между прочим, лейтенант, очень ревнивая птица этот зяблик. Других возле своего гнезда не терпит. Попробуй-ка другой поблизости трель пустить – сразу в драку. Да еще как дерутся-то! Перья летят, щиплют друг друга и ничего не видят вокруг. Непохвально, а? – прищуренными, по-старчески водянистыми глазами Коротиллов вопросительно и насмешливо смотрел на лейтенанта. У Бесстужева прихлынула к щекам кровь.

– Надеюсь, товарищ комиссар, вы вызвали меня не для того, чтобы говорить о птицах?

– И об этом не вредно. – Коротиллов вытащил из-под книги два листа бумаги, поморщился. – Полюбуйтесь на эти рапорты. Два хороших командира просят перевести их в другую часть. Один желает на Дальний Восток, другой, видите ли, – в Среднюю Азию. Как прикажете на это реагировать? Растим людей, создаем в полку кадры, а они фыр-пыр – и в разные стороны. Кроме того, один из этих борзописцев способен даже армию на семью променять.

Бесстужев напрягся, стараясь сохранить внешнее спокойствие.

– Да, товарищ комиссар, я говорил командиру батальона при подаче рапорта: если мою просьбу не удовлетворят, буду ходатайствовать о демобилизации. Как крайний выход. Встречаться каждый день с Горицветом невыносимо, неужели надо объяснять это?!

Коротиллов засопел, поднялся со стула, крикнул сердито:

– Ну, чего бровями-то ерзаешь!.. Мальчишка ты желторотый. Я к тебе приглядывался, думал – хороший командир растет. А ты? Первую трудность встретил – и на попятную? Назад, по-рачьи? Что мне своя часть, что мне долг, что армия! Покой дороже. Так, что ли?

– Нет. Армию я люблю.

– Вот она, любовь-то твоя, – на этом листочке! Трудно стало: комиссар недоволен, товарищи косо посматривают... А почему мне довольным быть? Мне и ты и Горицвет оба одинаковы, оба в сыны годитесь. А ты знаешь, как хороший родитель за дитем смотрит? Год да другой жениться не разрешает. Пусть походит парень с девушкой, приглядятся друг к другу.

– Поздно, товарищ комиссар, говорить об этом.

– Я не только о женитьбе твоей говорю, но и о бумаге об этой. Все рывком, все комом, не продумав как следует... Свои обиды на первый план выперли, все заслонили. Ты ведь комсомолец, политинформации проводишь. Знаешь, что на белом свете творится. Половины Европы за дымом не видно. Лондон горит, Белград, Афины. В небе самолетов больше, чем птиц, на поле танк скорее, чем трактор, увидишь...

– Не у нас.

– Сегодня не у нас, а завтра? Ты знаешь, что будет завтра?

– А вы знаете?

– Да. – Коротиллов ткнул в пепельницу горящую папиросу. – Разве империалисты смиряются с тем, что мы существуем? Можешь не сомневаться, попробуют нас задушить. И первыми примут бой те, кто здесь, на границе.

– По-вашему, я бегу с переднего края? – побледнел Бесстужев. – Я... Я дезертир? – с трудом выдавил он. – Так понимать вас?

– Понимай, как хочешь, – отвернулся от него Коротиллов.

Оттолкнув табурет, Бесстужев шагнул к комиссару, протянул руку.

– Дайте рапорт.

– На столе.

Лейтенант схватил бумагу, долго и ожесточенно рвал ее на мелкие клочки, бросил их на пол. Сказал почти шепотом, от негодования спазмы стиснули горло:

– В старое время я вызвал бы вас на дуэль. На шесть шагов... Разрешите идти?

– Куда?

– Все равно. В роту или на гауптвахту.

Коротиллов повернулся к нему, смотрел подобревшими глазами.

– На гауптвахту за такие слова стоит. И под строгий арест.

– Когда прикажете садиться?

– Остынь, горячка. – Коротиллов ногой придвинул ему табурет. – Ишь ты, дуэль выдумал... Да разве мыслимо это при современном оружии? – улыбнулся он, подкручивая усы. – А на саблях смог бы, а, лейтенант?

– На чем хотите! – Голос Бесстужева все еще дрожал от обиды.

– Ну, нет. Из автомата – это бы ты смог. А на саблях тебе со старым кавалеристом не потягаться.

– Да вы не смейтесь, товарищ комиссар.

– Рассердился?

– Очень.

– И хорошо. Какой это командир, если у него гордости нет... Но и мне, лейтенант, тоже обидно. Всю жизнь Красной Армии отдал. Верю – достойная смена нам, старикам, пришла. А ты с бумажкой этой. Ведь не я, не ротный службу с тебя требуют – народ тебя на передний край послал.

– Товарищ комиссар, хватит об этом. Больше не повторится.

– Ладно... Закурим давай.

Папироса успокоила Юрия. Перестали вздрагивать руки. Только уши горели еще от пережитого волнения.

– Разрешите мне, товарищ комиссар, сказать кое-что. Может, мои слова глупыми покажутся, так хоть сам себя успокою.

– Слушаю.

– Знаете, моя жена в городе живет...

– Жена? – спросил Коротиллов.

– Да, жена, – твердо ответил Бесстужев.

– Хорошо, – кивнул комиссар, и Юрий понял, что этот вопрос решен теперь раз и навсегда.

– Так вот, Полина живет на частной квартире. Ходит в магазины, на рынок. Мы с вами люди официальные, нам не все окажут. А при ней местные жители не стесняются. У многих местных на той стороне Буга родня осталась, так они умудряются со своими связь поддерживать.

– Ну-ну, – заинтересовался Коротиллов.

– Говорят люди: германа на том берегу богато стало. Поверить им, так немцы большое количество техники за Бугом сосредоточили. И орудия, и танки. Извините, товарищ комиссар, – бабьи сплетни передаю, но что-то много сплетен этих...

– Извинять нечего, правильно сказал. Я и сам кое-что знаю.

– А у нас пушки без боеприпасов. Автоматы на складе. Просил хоть один для занятий – не дают. Распоряжения нет.

– Ладно, лейтенант, это я учту. – Комиссар хмурил седые брови. – Будут еще новости – приходи...

Поднявшись по крутым ступенькам наверх, Бесстужев вздохнул, привычным движением поправил портупею. Сырой воздух приятно охлаждал горящие щеки. На душе было легко. «Так, наверно, раньше с исповеди уходили», – улыбнулся он.

Издалека донеслась песня – в лагерь возвращались роты. Бесстужев заторопился: надо было отвести взвод в столовую и ехать на вокзал провожать Дьяконского.

* * *

В этот вечер долго горел свет в землянке полкового комиссара Коротилова. Давно прозвучал сигнал отбоя, затих лагерь, давно спали уставшие за день красноармейцы и командиры, а комиссар все еще сидел за дощатым столом, писал очередное политдонесение. И не столько писал, сколько думал.

Разговор с Бесстужевым взволновал Коротилова. Собственно, лейтенант не сказал ему ничего нового. Комиссар и сам знал о том, что за Бугом сосредоточиваются немецкие войска, что на границе беспокойно, что почти каждый день появляются над нашей территорией фашистские самолеты. Бесстужев только лишний раз напомнил ему об этом.

Надо было принимать какие-то серьезные меры. Но в штабе округа будто не замечали того, что происходит на границе. Воинские части занимались обычными мирными учениями. Коротилов уже сообщал о слухах среди жителей города, о том, что эти слухи проникают в войска. Писал, что в полку большая недостача личного состава, мало автоматов и радиостанций. Но его донесения попадали, вероятно, к равнодушным людям и оставались под сукном. На одном из совещаний Коротилову даже намекнули: не следует сгущать краски. И вообще, полковой комиссар должен, дескать, думать о своих делах, у него достаточно их в своей части. Об остальном позаботятся те, кому следует.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.